

Герман Дробиз

Переправа

Стихотворения и поэмы



Екатеринбург
2007

**ББК 84(2Рос=Рус)6-5я44
Д75**

***Книга издана при поддержке
Министерства культуры Свердловской области,***

Редактор серии
Л.П.Быков

Д75 Дробиз Г.Ф.

Переправа. Стихотворения и поэмы. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007, 408 с.: илл. — (Библиотека поэзии Каменного пояса).

ISBN 5—7851—

В книге собраны стихотворения и поэмы известного российского поэта Германа Дробиза, написанные за 40 лет творческой деятельности.

Для широкого круга читателей.

ISBN 5—7851—

© Г.Ф.Дробиз, 2007
© Банк культурной информации,
оформление, состав., серия, 2007.

ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
(1967)

Я — близорукий.
Руки — близко.
Оптика
мир выгибает
круто.
Прохожий,
пугаясь очкастого блеска,
сторонится
моего маршрута.
Ему неуютен
стеклянный взгляд,
зябкий,
как зимний вечер,
он
от меня
дает кругалю,
а я — за ним,
я близорук и доверчив:
мне кажется,
я позарез ему нужен
и важен,
мне видится,
он одинок и грустит,
и если никто ему
доброго слова не скажет,
он мне
этого
не простит...

Вот девушка.
Трудно выдумать лучше!
С ней под руку
мальчик спортивный курсирует.
Он видит, как бог,
как рентгеновский луч —
не зря приметил
такую красивую!
Он усики носит
и синий берет,
прощаясь, шепчет ей:
«Ариведерчи...»
И сам я вижу,
что шансов нет,
но я близорук
и доверчив:
мне кажется,
я ей очень нужен и важен,
а с ним одинока она
и грустит,
и если никто ей
доброе слова
не скажет,
она
мне
этого не простит...
Зимней ночью
в август веруют скверы,
бредят листвой деревья.
Людам
мало собственной веры,
люди просят доверия.

РАЗГОВОР СО СЛОНИХОЙ

У меня со стихами случилась запарка;
ради них я забросил остальные дела:
мне сейчас позвонили из зоопарка —
там слониха детеныша родила!
Был не страшен ему нашей осени холод,
солнце ярко светило, желтели пески.
Он восторженно хрюкнул
в тоненький хобот
и расправил по ветру ушей лепестки.
А слониха лежала, не чувствуя боли,
с тяжким хрипом вздымались и спадали бока.
Новый, редкостный случай размноженья в неволе
для научного мира неизвестный пока.
Скоро, скоро нагрянут сюда репортеры:
«Сколько ест новорожденный? Сколько он пьет?»
Рядом с ними ученые затараторят,
будут хвостик промеривать, щупать хребет...
Я — другое спрошу,
я — другое узнаю:
как дала ты,
понять не могу одного,
появиться на свет
толстоногому парню,
на неволю
заранее обрекая его?
Зарешечено низкое небо и волгло,
и, в казенных кастрюлях отражена,

Так какого рожна?!

Будет в цирке он поутру
 делать нудные трены,
а вечером,
 под огнями, бегущими ввысь,
как проклятый,
 топать по кругу арены
под «виват» бельэтажа
 и галерковый свист!..

Тысячью ломтиков
разлягутся серые кожаные бока.
Вырежут семерку счастливых слоников
из каждого его клыка
и расставят на полочке — наивным символом —
ты хотела бы этого.

она мне не верит!
Этот взгляд, переполненный нежностью гордой
и почти человеческим горящий огнем,
видел знойное небо над белым городом,
видел мутный Ганг и парус на нем,
и свободно гуляющего

8

ест казенное сенце,
 кровь мне была в виски,
 зажимала в тиски,
 как в решетку,
 по ребрам колошматило сердце,
 в нем рождались,
 просились на волю стихи!
 Я не знаю — слог мой нов иль не нов,
 мое слово — видано или не видано...
 Как нужна мне
 упрямая вера слонов
 в свою
 грядущую
 Индию!

ЧЕРНАЯ ГРОЗА

Обычно дождит в водосточных коленцах.
Нахлынувших капель негромкие песни.
Но, может быть, — слезы о конголезцах?
Рыдания о родных в Родезии?
Видите —
тяжких, разгневанных туш
гулкая гонка?
Слышите?
Черные негры туч
скорбят о погибших в Конго!

Гром расстревожен, хрипл и строг.
Тр-рах! — вдруг оглушает ударными,
слышите?
Старый Луи Армстронг
поет «Ночь в Гарлеме» —

этому парню в жизни везет,
родился на редкость басистым.
Мерно вращается горизонт
пластинкой «Коламбия систем».
Песня пластмассою костенеет,
в диск аккуратный закована.
А там, над ее родным континентом,
небо невиданным джазом расколото!
Это миллионы свободных вольт
чертят молний небесную графику,

это миллионы свободных воль
рушат старую Африку!
Священная месть — их стратег и вождь,
и каждое племя — как пламя!
И дождь — справедливый, ликующий дождь
над хижинами и полями...

Свернуты зонты. Капюшоны сброшены.
Легкое испарение с тополевого листа.
Тридцать в тени. Очередь за мороженым.
Улицы просохли. Глаза в слезах.

весь мир их мальчиший пропах,
и солнце
течет по губам и ладоням
и тает на белых зубах!

2

Невидимой чертой отделены
от внешнего горлающего мира,
стихи мои неторопливо, смирно,
тихонько зреют, словно кавуны.
В них солнце переплавало лучи,
в них степь вдохнула жаркое дыхание,
как на печи румянят калачи,
так мой арбуз испекся на баштане.

Не скрою, рад — не надо слов пустых,
скажу какому-нибудь Васе или Сенечке:
«Ах, ешьте, ешьте мой арбузный стих,
поплеывая рифмы-семечки!»

Арбузным соком залит небосклон,
закат — такое алое веселье.
Сюда ко мне идите босиком
по теплым грядкам —
пить хмельное зелье!
Ломайте корку, звонкую, как медь,
вонзайтесь в обессиленную мякоть!

Он был рожден, чтоб жить и умереть,
и стоит ли, друзья, об этом плакать?

В истории моей планеты,
на виражах ее судьбы,
стоят забытые поэты,
как придорожные столбы.

И мимо них, дорогой тряской,
без лошадей и кучеров,
ползут ночами тарантасы
ушедших в прошлое стихов.

Исчезло чудное мгновенье,
отговорили голоса,
как всенародное забвенье,
пустые блещут небеса.

Жестока участь бывших в моде
и поучительно горька...

Но чья-то между нами бродит
полузабытая строка.
Но где-то, за горою прозы
и за пустыней пустыков,
танцуют рифмы, как стрекозы,
над водоемами стихов.

ВЫСОКИЕ ПОЛЯНЫ

Над полуночную бездной,
над загадками планет
мается мой друг болезный,
аналитик и поэт.
Он несет двойное бремя,
он несется напролом,
и непойманное время
бьет его своим крылом.
День расколот, мир разрублен,
диалектика мертва,
в голове горящим углем
рассыпаются слова.
Не вините человека,
невиновен человек,
если он отстал от века
и попал в двадцатый век.
Ни к богам и ни к богеме
не шарахался пацан.
Просто — дурень.
Просто — гений.
Просто — пламень по глазам.
Он глядит в свое окошко,
в этот поздний час оно,
словно ягодой лукошко,
спелой звездой полно.
Вот он тянется к Полярной,
вот хватается, не дыша...

На высокие поляны
забрела его душа.
Либо там он остается
и пробьется в звездный век,
либо он сюда вернется,
будет просто человек.

В баллоны вдавлен грозный газ пропан,
под коркою стальной стихия дремлет,
и клапан, как охотничий капкан,
вцепился и утихомирил время.

Но до поры. Но только до поры
побеждено высокое давление!
Вот просочились первые пары,
вот красной метки пройдено деленье,

и — грохот! Адский, первобытный, злой,
все признаки особенных аварий!
Взбесилось время, в сторону снесло
прочнейший мир, что был окован, сварен,

в сосуды втиснут, в чьи-то души вмят,
запломбирован, выверен — напрасно!
Стихии долго спят, да скоро мстят.
Поэзия всегда взрывоопасна.

*А*вгуст. Эпидемия футбола.
Криком запрокинутый вираж.
Жар голов. Сухая жажда гола.
Хай, страданье, оголтелость, раж.

В голубом, оранжевом и алом
рыцари отваги и броска.
Краски прут хрестоматийным Арлем,
режут дно прохладное зрачка.

Но бесцветно выжженное небо.
И в него, бездонное, как встарь,
на мгновенье загляделся немо
в черное погашенный вратарь.

ТИХАЯ КОМНАТКА

И с неожиданностью выстрела,
всем объявившего войну,
пустое око телевизора
врубалось в эту тишину.
Кто-то здесь грустил о ком-то,
в ком-то признавал врага.
Вечер
властно обнял комнату,
наставил телевизору
антенные рога.
Как ни плакал
электронный дурень
и тащил,
тарачил
старое кино,
вечер,
темен,
дик
и бескультурен,
лез и лез
сквозь черное окно.

*П*ы надоел, пижон.
Танцзал и кинокасса —
обычный твой рожон,
ты свой, ты примелькался,
ты, как газон, асфальт,
киоски промтоваров, —
такая же деталь
центральных тротуаров.

Пижоны-голубки,
голубчики, голубки,
как древние лубки,
застывшие улыбки.

Пижоны, что столбы,
на равных промежутках.
Бездумный ход толпы
в папах, шапках, шубках...

И в старости, мой друг,
ты лишь вот это вспомнишь
мельканье лиц и рук
в неоновую полночь.

А жизнь — какой обман! —
забыта и отпета,
как смятая в карман
программка оперетты.

СУББОТНИЕ СТИХИ

Банщик,
банщик,
банщик,
банщик
в таз лупил,
как барабанщик!
Пену мыльную взбивал,
к непомывшимся взывал:
«Граждане грязные,
нынче суббота,
разве вам,
разве вам
мыться неохота?
Ваша кожа жухлая,
как осенняя кора,
граждане,
граждане,
чиститься пора!
Пыль недели запеклась
на безгрешном теле,
пусть его продроят всласть
мыльные метели —
ой, жги, жги, жги,
силушки не береги,
по спине по розовой,
веничек березовый!

Обещаю полный курс
банного искусства:
я вам косточки промну
до сладкого хруста,
отхлещу вас и прошпарю,
отшлифую, отскоблю,
я к труду привычный парень,
это дело я люблю!
Вот чисты вы, как младенцы, —
в чем мамаша родила.
Разотру я полотенцем
ваши нежные тела —
и, лопатками сверкая,
как крылами ангелок,
улетай, душа людская,
без забот и без тревог!»

И душа в ответ божится:
«Буду ангел!

А пока
мне — для полного блаженства —
дал бы кружечку пивка!»

Э то было давно,
на одной из страниц букваря
буквой «М»
углубляя
познания наши,
мама мыла раму,
драила почем зря,
рядом с нею
Маша
рот набивала кашей.
Вот обжора!
Когда бы на «М» ни раскрыть —
рядом с трудолюбивою мамою
Маша лопает во всю прыть
вкусную кашу манную.
Она заливает ее молоком,
маслом заправляет понемножечку,
поверху сахарным сыплет песком
и тайком подсыпает лишнюю ложечку.
Сперва подует,
потом как черпанет!
Эх...
Знай себе, ложкой машет!
А у класса слюнки текут,
и сильнее всех —
у обжоркиной тетки,
первоклассницы Маши...

Шел последний военный год.
Наплывала весна.
Маша ела кашу,
три крупинки
в вареной водице.
Мама мыла раму,
терла до блеска четвертушки окна;
чистила старый отцовский костюм —
скоро он пригодится!
Маша все понимала
и тоже ждала перемен,
а пока что,
склоняясь над бедною чашкой,
раскрывала нарочно
букварь на странице «М»
и приказывала:
— Эй, ты!
Потише чавкай!

*П*ишмашинка,
пишмашинка,
машинистка плачется:
ах, руками помаши-ка,
если буква прячется!

Неопытная девочка
ищет букву «Э».
Стрекочет рядом дамочка
в золотом пенсне.
Неопытная девочка
рубит сгоряча —
ах, опечатка —
голова с плеча!
Строгая дама
румянцем горит,
неопытной девочке
говорит:
«Ты на клавиш
сильно давишь,
интервал
неверно ставишь,
дефис
путаешь с тире,
повышай свою культуру,
изучай клавиатуру,
где, к примеру, буква «Э»?»

Буква «Э» найдена
во втором ряду.
Эдик вспоминается
в городском саду.
Эскимо на палочке.
Эстрада. Экран.
Он держал за пальчики,
легонько играл,
гладил эти трепетные,
шептал слова,
медленно так, медленно
целовал.
Пальчики печальные,
чудное творят:
«Эдик» печатают
сорок раз подряд!
Он их гладил, влажные,
но не знает он,
что в докладе важном
ими повторен,
что большой начальник,
осушив сифон,
все это нечаянно
скажет в микрофон,
и в ответ на гогот
подмигнет хитро:
«Женщины работают
в нашем машбюро!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ЮГА

У нас осенние ветра гремят
мощней органного хорала —
ты
 за горами
 и за Гаграми
на жаркой гальке загорала.
У нас на лицах
 бледность плавает,
в квартиры прячемся мы
 день-деньской,
а ты приехала
 мулаткою,
и в тыщу раз черней
 гогеновской.
Мы порошками дышим мятными
и слабым запахом лекарства,
а ты пронзаешь ароматами
хмельного,
 южного лукавства.
Смугла, легка,
 ты смотришь иначе,
 ты черноморским ветром
 вымыта,
ты чайка с юга,
 ты чайночка
в стакане
 северного
 климата!

ОТЧАЯННЫЕ СТИХИ

Ребята, мне обидно,
скажу вам без обмана:
среди ночи темной,
среди бела дня
роковая женщина,
по имени Татьяна,
избегает случая
полюбить меня...
Зачем себя обманывать
нелепыми мечтами,
ворочаясь на коечке
в уюте и тепле?
В семь звенел будильник:
«Таня-Таня-Таня...»
И снова: «Таня-Таня...» —
все веселей и злей.
И в этом пошлом грохоте
мгновенно испарялся
мой странный сон залетный,
а он шикарный был:
любимую спасая,
я в джунглях пробирался,
на крокодильих спинах
по бурным рекам плыл.
Тамтамы грохотали,
и щелкали лианы,
и путались, пытались

меня остановить.
Я выскочил — о боже!
Что вижу я — Татьяна
в объятиях чудовища,
премерзкого на вид!
Как я кромсал и комкал
безжалостным оружием
мохнатенькое тело
агрессивного самца!
Спасенная Татьяна
дышала глубже, глубже,
ходила краска пятнами
вдоль бледного лица.
О сладкий миг победы!
Веселым командиром
я к Тане приближался
и поцелуя ждал,
и губы были рядом,
и были целым миром,
и я...
Но тут будильник
торжественно заржал!
Я снова рухнул памятью
в долговую яму
и вспомнил среди прочих
огорчающих досад,
что сказка про чудовище
и бедную Татьяну
классиком придумана
век назад.
Какую злую шутку
со мной судьба сыграла:

неужто мне финалом —
онегинский финал?
Танечка, постой,
не выходи за генерала,
даже если свой это,
советский генерал!

*Д*овольно гнать строку по виражу
благополучно наклоненных гонок,
и я в опасный траверз выхожу
твоих вершин, любовный треугольник.
Три сердца, три души, три храбреца.
Сюжет не нов. Но жизнь моя — не книга,
и с трех вершин срываются сердца,
в трех пропастях три повисают крика.
О девушка, любимая двумя,
летающая отвесно и упрямо
над робким пиком имени меня,
студентка Танька, пиковая дама!
Соперник мой! И он в пике пошел!
Стократно неудачей перегружен,
как он беспомощен, как неуклюж он,
как он неотвратно притяжен!
И сам я, сам я — я куда лечу?!
Я невесом, но ветер лупит в плечи,
и горизонт углом встает навстречу
расширенному скоростью зрачку!..
...А всем иным — глядеть издалека.
И веселился факультет, судача
о том, как два забавных чудака
никак не могут поделить чудачку.
Таков закон. Сюжет берет в тиски.
Он каждый раз — банал, штамповка, схема,
и каждый раз — история тоски,
полет, сердцепадение, поэма.

*М*артовские граждане
сдурели, озверели,
постовые распяты
на крестах ветров,
зазывают посвистом
колдовской свирели
продувные бестии дворов.

Обнажились ходы
городских расселин,
хлынула прохлада
горлами ворот,
в марте ветер свищет,
как Сергей Есенин,
леденящей лапой
за душу берет.

В марте люди пьяные,
в марте лужи пьяные,
светофор подвыпимши,
у него невроз,
и ветра настоены
брагой окаянною,
как дыхнут по городу —
улицы враскос!

Март купает в лужах
воробьев продрогших,

дует в жестяную
звонкую трубу,
и тишайших девочек,
за зиму проросших,
чьим-то глазом косит,
как косой — траву.

*Ш*орох и яблок глухой перестук,
это прошел по эдемским садам
первый любовник, первый супруг —
Адам.
Он теперь опустился и служит в бюро,
но, лишившись библейского звания,
до сих пор ощущает в себе ребро,
из которого Ева изваяна.
Мы без ребер. Мы все инвалиды любви.
Мы на пенсию жаждем наивно.
Но опять, как нашествие горных лавин,
к нам врывается женское имя,
и в ущельях души, как в былые года,
и ломая последние ребра,
загрохочут потоки событий и дат,
лишь одними губами подробных,
лишь сплетенных в удивительный смерч,
до седьмого крутящийся неба —
все впервые: желания, жесты и речь,
имя — Женщина, прозвище — Ева!
А когда отшумят, улетят кувырком
наважденья и смерчи —
по-свойски
райский сад обернется фруктовым ларьком,
Ева — домохозяйкой с авоськой.
Помню: рельсы блестели, и солнце пекло,
был размякшим асфальт, и прохожие — потными,
и запретные яблоки, рубль кило,
с тихим стуком катились под ноги.

Жизнь моя — голубой телевизор,
полыханье веселых программ,
получаю нечаянный вызов
по ветвистым антенным рогам —

ах, какая в висках канонада,
как в лесу по сосне топором!
Не крутите мне ручек, не надо.
Я настроен на дальний прием!

«ПРОЩАНИЕ С ГОЛЛАНДКОЙ»
(1991)

СЛОВАРЬ

Я буду петь о лампе керосиновой,
про теплый свет послевоенных лет,
про обувь и одежду некрасивую,
про старый дом — его в помине нет.

Про теплый свет, про лавку керосинную,
про череду морозных ясных дней,
про санки со скрипучею корзиною
с пахучей банкой керосина в ней.

Про валяную обувь и резиновую,
чей след простыл, про саночки, чей след
простыл-пропал, про саночки с корзиною,
чей след простыл — его в помине нет.

Ушанка, ватник, валенки с галошами,
и к булочным змеиные хвосты,
дрова, бараки, водовозки, лошади...
Где патефоны? Их и след простыл.

Парады под тяжелыми знаменами,
плакаты где? Но их простыл и след,
а на века казались счетверенными
те четверо в единый силуэт.

День выборов, снег в корках
мандариновых,

гремящие над входом рупора,
костер из флагов, алых и малиновых,
и слава тем, кто шел к шести утра!

Я буду петь о лампе керосиновой,
про теплый свет — его в помине нет,
про бесконечный треск машины Зингера,
кормилицы послевоенных лет.

Про старый дом, где живы мама
с бабушкой,
где цвел пейзаж японский на стене,
а рядом с ним, под светом, косо
падавшим,
жил юноша, убитый на войне.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

*Играй, Адель,
Не знай печали...*
А.С.Пушкин

*Д*итя не видело отца
ни разу прежде. Жметса к маме.
Отец не видел молодца
ни разу прежде. Он — руками,
привыкшими держать снаряд,
его убийственную тяжесть, —
берет с усилием, наугад,
но близко не предвидя даже,
что весит мальчик тыловой,
насколько легче он фугаса...
Мальца взметнул над головой,
тот ойкнул, крикнул, испугался.
Мать всполошилась: «Не убей!» —
сквозь слезы радости вскричала.
А руки — нету их грубей,
война обтерхала, стачала,
как наждаком ободрала —
к худому тельцу приникают
и к ощущению тепла
сынка родного привыкают.
Но вот мальчонка водворен
к отцу на жесткое колено.
Он с грозным дядей общий тон
нащупывает постепенно.
Котенком трется у щеки,
вбирая крепкий дух махорки,
и робко трогает кружки

блескучие на гимнастёрке.
Награды он перебирал,
медали звякали, бренчали.
Отец глядел и повторял:
«Играй, сынок, не знай печали».

ЦАРЕВНА

В знойный день, от старухи с угла,
духотой истомленную розу
я принес, и она ожила,
приняла горделивую позу.

Этой царственной розы расцвет,
влажный стебель в хрустальном изломе
разбудили за толщею лет
вспоминанье о маме, о доме.

Сказки детства! Конек-Горбунок,
смерть Кощея на острове дальнем,
ведьмы, чудища, алый цветок
и царица во гробе хрустальном.

Помню, мама читала нам вслух,
в слабой лампе спиралька жужжала,
часто свет электрический тух,
и тогда наизусть продолжала.

В полумраке, в волшебном краю,
в теплом облаке речи напевной,
засыпая, я маму свою,
помню, сказочной видел царицей.

Помню, мама любила цветы.
Розы, если я правильно помню.

Под окном нашим помню кусты:
густо-красный и белый шиповник.

Помню, грозы любила она:
свежесть, шум водяного обвала.
Так любила она лишь одна —
ей дыханье гроза открывала.

И, омыты живою водой,
в громовые июльские грозы
вновь цвели молодой красотой
мама и на шиповнике розы.

...Тот июль, как разошедшийся дом,
весь от зноя трещал, и царица
зной хватала запекшимся ртом,
почерневшим и скошенным гневно.

Затянулось предгрозье. Бедой
налилась тишина неживая,
смертным жаром, как мертвой водой,
все живое кругом заливая.

И, чернея от долгой тоски,
осыпали в траву то и дело
обгоревшие лепестки
густо-красный шиповник и белый.

И когда от травы, от земли
потянуло едва ли не смрадом —
в небо черные тучи вползли
и обрушились водопадом.

И земля захлебнулась во мгле,
погрузившись на дно океана!
Запоздавшая влага к земле
торопилась, рвалась покаянно,

тормошила, будила, трясла
все убитое зноем полдненным...
Лишь царевна так крепко спала,
как пристало всем спящим царевнам.

Била в крыши, рвала провода,
билась оземь и в стоках рыдала,
так спешила живая вода!
Но к царевне она опоздала.

Спит краса заколдованным сном,
крепко скованным ведьмой умелой.
Вечной сказкой цветет под окном
густо-красный шиповник и белый.

СТАРЫЙ ДВОР

А была она рыжая, как пламя костра...
Ей завидовали подружки.
Обжигались мальчишки большого двора
и дразнили ее за веснушки.

Я сидел над бумагой и слово ловил
и вмещал его между синеньких строчек,
и каракули безнадежной любви
прожигали тетрадный листочек.

А когда под таинственный шепот:
«Прочти...» —
ей ладонь четвертушки мои целовали,
как надменно сужались ее зрачки
над моими святыми словами!

И глядела куда-то за дальние крыши,
где гремела листва уходящего лета,
и роняла небрежно, со вздохом, чуть слышно:
«Не будет ответа...»

С орок девятого детский жаргон:
«зырить» и «тырить», «полундра», «хана».
Терминология взрослых — вдогон:
«злыдни», «архаровцы», «урки», «шпана».

Клички, дразнилки дворов проходных:
«фрайер», «лопух», «доходяга», «жиртрест»...
О, оскорбления сороковых,
из отдаленных пришедшие мест:

«сявка», «ханыга», «шестёрка», «сексот»...
«Ты заложил нас?!» — «Да что ты — опух?!»
Кто же безропотно это снесет?
Разве что — «нюня», «придурок», «лопух».

«Косаться» — драться, «метелить» — лупить,
без перевода: «навесить фонарь»,
послевоенной братве не забыть
на пустырях произросший словарь.

«Жестка» и «чика», футбол, чехарда.
Что там слетало с мальчишеских губ?
«Шухер»! «Атанда»! «Смывайся»! «Айда»!
«Чокнутый»! «Стукнутый»! «Сдвинутый»!
«Дуб»!

Рядом, у взрослых: «ханурик», «дурдом»,
«выродок», «хахаль», «подстилка», «алкаш»...

Музыка кухни: «лимит», «управдом»,
«угол», «прописка», «жировка», «метраж»...

Это ли станем лелеять, беречь —
лагерный крик с коммунальным впритык?
Это ль свободная русская речь?
Он ли — великий, могучий язык?

Грубый тезаурус сороковых,
нищий в тележке, зажавший в горсти
тертую медь просторечий своих...
О, благородный Тургенев, прости!

Раненый он, некрасивый, рябой,
резок, хрипат, ни к чему не брезглив,
но из достоинств, воспетых тобой,
все ж в нем одно сохранилось: правдив.

*М*елькают кулачки:
как зло дерутся дети!
Сверкают их значки
на вытертом вельвете
Им нипочем мороз,
отброшены пальтишки,
без возгласов и слез
сражаются мальчишки.
Ах, сколько детств прошло,
и подтвердилось вдосталь,
что драки ремесло
осваивать непросто.
Как музыкальный слух
и тяга к рисованью,
так и драчливый дух
подобен дарованью.
О, нанести удар,
украсить глаз «фингалом» —
для тех, в ком божий дар,
и дело-то за малым.
С размаху дать под дых,
в скулу вломить умело!
Но это для иных —
немыслимое дело.
Есть сила и кулак,
не хилы и не хромы,
да, видимо, не так

сцепились хромосомы.
Пора, пора решать,
какие нравы правы,
который поддержать
для пользы всей державы.
Мечтать: лет через сто —
что лучше, в самом деле, —
чтобы не смел никто
или чтоб все посмели?
...А эти — молодцы.
На лицах гнев и злоба.
Отважные бойцы.
Умеют драться оба.

*М*альчишек темный сход
в волнении потеет:
вожак «шестерку» бьет!
Тот отвечать робеет.
И всхлипывает он
едва ль не от восторга:
избит и умилен!
На то он и «шестерка».
Затурканный вассал
под гнетом феодала,
давно бы он восстал,
когда б душа восстала.
Почти что век борьбы
за человеческую гордость —
но вновь живут рабы,
от униженья горбясь?
Дай подрасти — поймут
и отомстить сумеют!

Растут рабы, растут.
И господа взрослеют...

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

*М*илые детки бывают гадкими,
среди гадких деток немало милых.
Бейте отличников из рогатки,
двоечников топите в чернилах!

Середнячки, прочешите кварталы,
чтоб ни один нетипичный не выжил!
Выявить надо заик и картавых,
также очкариков, также и рыжих.

Эти очкарики, деточки мамины, —
их близорукость так прогрессирует...

А у рыжих

вечно

что-нибудь пламенное
в башке пульсирует...

Середнячки, торопитесь!

Расплата —

за поворотом, на ближней ступени:
вдруг да отличники станут талантами,
двоечник

вдруг да окажется гений?

*В*от то-то достается шуму, крику
ежевечерне нашему двору!
Мы мальчики. И мы играем в чику,
в азартную, запретную игру —
дурных влияний улицы улику.

Биток в руке свинцовый, тяжеленный....
Но вот он через сумрак просвистел,
где в поле зренья изо всей вселенной —
монетный столбик на черте блестел,
маня к себе надеждой вожденной!

А в школе нам тогда преподавали
отмеченный наградами роман,
детишки в нем все пели да мечтали
и, расходясь из школы по домам,
конечно же, на деньги не играли.

В тиши уроков созревали крохи,
мудрели октябрюта-малыши,
деля чертой участников эпохи:
хорошие — отменно хороши,
ну, а плохие — безобразно плохи..

Так мы играли. Первая игра —
за партой, в наставлениях приличных,
вторая шла в баталиях привычных,
в квадратике вечернего двора,
среди друзей-товарищей двуличных.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ

Что осталось за спиной,
от улыбок до ухмылок —
по ночам опять со мной:
дышит и глядит в затылок.

А в затылке древний зрак
легендарный цепенеет —
третий глаз в кромешный мрак
вперился, мечту лелеет:

все, что было, пронеслось
в долгой жизни человека,
тщится разглядеть он сквозь
неподъемлемое веко.

Напрягись и подыми!
Вспять направь свой взор пыливый
и пространство обними
оборотной перспективой.

Ненавидел и любил,
приютил или обидел —
всех, кого я позабыл, —
чтобы снова их увидел.

Чтоб при ясном свете дня
года так сорок седьмого

кто-то глянул на меня
исподлобья и сурово.

Кто он, кто он, кто таков,
пнуть забыв тряпичный мячик,
замер у дровяников
изумленный этот мальчик?

Это сам себе вослед
я гляжу, глазам не веря,
с расстоянья в сорок лет
на грядущие потери.

Пух, летящий с тополей,
вспыхнул вдруг на трассе взгляда...
Мальчик, мальчик, пожалей,
отвернись, глядеть не надо!

Смотрит прошлое на нас
пристально, без уваженья...
Слава богу, третий глаз —
лишь игра воображенья.

Я был мальчишкой,
но помню эти
фанфары в книжках,
псалмы в газете.

Какие годы!
Какие дали!
Я помню оды
и пасторали —

стихи о том,
как творится чудо,
и что потомки
гордиться будут.

Я помню оды
заводам дымным,
Отцу народов
я помню гимны:

боготворили,
сто раз и снова
благодарили
его, родного,

за этот воздух,
за этот ветер,

за эти звезды,
за все на свете.

За то, что пишут
про перспективы,
за то, что дышат,
за то, что живы.

Прошли, как тучи,
все эти годы.
Но как живучи
псалмы и оды...

ЗОДИАК

*Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.*

Н.Заболоцкий

Двенадцать знаков Зодиака
замкнули круг ночных небес.
Не спит животное Собака,
ведет колонну в зимний лес.

Мерцают сонные созвездья.
Бредут в предчувствии конца
сто Близнецов, а может, двести
под дулом пьяного Стрельца.

Известно, человек греховен.
Весы качаются над ним.
И на закланье выдан Овен,
заботой неба не храним.

С чего не спит в светлице Дева
и под глухой сердечный стук
следит, как справа и налево
ползет животное Паук?

Едва ли ей слышать, едва ли,
как под безумным кулаком
под хруст костей своих в подвале
кричит животное Нарком.

И вовсе недоступно взгляду
ее, как дремлет Скорпион,

к утру подкапливая яду
и днем прошедшим упоен.

Он в трубке табачок сминает
и в ожиданье новых сил
неторопливо вспоминает,
кого еще не укусил.

Двенадцать было. Стало восемь.
А скоро будет одинок.
Лишь вспыхнет трубка — грянут оземь
Телец, и Лев, и Козерог.

Спят Близнецы во тьме барака.
В светлице Дева улеглась.
Не спит животное Собака,
и свеж ее кровавый глаз.

Есть склад в Подмоскowie, там тысячи статуй:
шинель или китель и профиль усатый,
в граните и мраморе, в бронзе и стали,
и без пьедестала, и на пьедестале.

Есть склад в Подмоскowie, там тысячи бюстов,
порою бездарных, нередко — искусных,
и тысячи тысяч холстов громоздятся
(летучие мыши на рамах гнездятся).

Холсты за холстами, холсты за холстами:
идуший полями, врисованный в знамя,
над картою в штабе, над строем парада,
с матросами на мостовых Петрограда.

Усталый и мудрый, горячий и юный,
в Сибири, в Кремле, на коне, за трибуной,
в обнимку с вождем на осенней аллее,
и в знамени снова, и на Мавзолее.

В своем кабинете, под лампой бессонной,
и с трубкой в зубах на подножке вагонной,
в кругу пионеров, на слете, на съезде,
ладонь подымая в приветственном жесте...

Но где они раньше висели, все эти
портрет на портрете, сюжет на сюжете?
И где эти статуи раньше стояли,
в граните и мраморе, в бронзе и стали?

А всюду висели и всюду стояли:
в Москве, в Ленинграде, в Баку, на Урале,
в кавказских горах и в степях Казахстана
и, само собой, в лагерях Магадана.

Да не было города в наших просторах,
где б он не стоял — возле школ и в конторах,
напротив завода, напротив горкома,
взмахнувши рукою, как добрый знакомый!

И не было в целой стране кабинета,
чтоб этого в нем не висело портрета.
Казалось, себя он размножил повсюду,
чтоб знать, как живетя доподлинно люду.

Все слышит, казалось, все видит он, мнилось,
и явит, коль надо, он гнев или милость.
Но миловал редко, и все это знали,
а гневался метко, и все это знали.

Под статуей этой, под этим портретом
не всякий вопрос обернется ответом,
когда за тобою следит продолжение
и зренья его, и его подозренья!

...В тот час, когда умер он, умерли эти
портрет на портрете, сюжет на сюжете.
Снимали со стен и с подставок срубали,
иные — сияли, иные — вздыхали:

взорвать или спрятать? Не слишком понятно:
а ну как придется поставить обратно?

Исчез на Урале, в Крыму, в Ашхабаде,
пропал в Ленинграде — очнулся на складе.

И без пьедестала, и на пьедестале
стоят близнецы из гранита и стали.
Простерта рука в одинаковом жесте...
Его здесь сто тысяч, а может, и двести.

Он сам себе строй для любого парада,
он сам себе съезд для любого доклада,
толпа на прощальном перроне вокзальном
и траурный митинг во мраке печальном,

где в патине бронза и гипс в паутине,
и пылью забиты зрачки на картине,
и тысячи статуй не видят, не слышат,
как реют меж ними летучие мыши...

Понятно, никто в этом мире не вечен,
но мне непонятно, что склад засекречен.
Волнует у Гоголя тайна портрета,
но в этих портретах не вижу секрета.

Откройте ворота забытого склада!
Историю знать современникам надо,
такую, какая была в самом деле,
такую, какую и вправду имели.

Впустите экскурсии. Дети, входите.
На славное прошлое, дети, глядите.
А станете взрослыми — сделайте милость,
чтоб славное прошлое не повторилось.

Через площадь на лафете
сквозь рыданья ехал бог,
и уже никто на свете
жизнь ему вернуть не мог.

Он лежал, еще суровей,
чем суров при жизни был.
Снег ему усы и брови,
смуглоту его белил.

Снег густой летел неслышно,
падал, падал без конца,
покрывая пеной пышной
толпы, площадь, мертвеца.

На брусчатку и на мрамор
падал, и лепился он
на багряно-черный траур
приопущенных знамен.

На гранитную гробницу,
в коей бог обрел ночлег,
на поникшую столицу
падал, падал, падал снег.

Снег валил по всей России —
зарядил на целый день —

на кладбища городские,
на погосты деревень.

Шорохом овеяв воздух,
с невысокой высоты
осыпал ограды, звезды,
полумесяцы, кресты.

Реял он над полем бранным,
шел над городом большим,
над заброшенным курганом,
над цепочками машин.

Снег валил по всем дорогам,
отрезая все пути,
рос у каждого порога —
не уйти и не войти.

Занавешивал просторы,
в толстых шторах все вокруг,
снегопада ровный шорох
был один всеобщий звук.

В тундре шел под Воркутою,
осыпал известный путь,
где под каждую верстою
упокоен кто-нибудь,

где, как знаки водяные
в старой выделки листе,
проступают ледяные
зеки в вечной мерзлоте.

Все изведано, испито
терпеливою страной,
все забыто, все укрыто
белоснежной пеленой.

Как при Грозном, при Батые,
день за днем, за веком век,
на притихшую Россию
падал, падал, падал снег.

1

*В*еков далеких геометры,
искусники и колдуны,
легко спрямляющие ветры
над переливами страны.
Вам грузная императрица
закажет свой немецкий сон,
и город с точностью провидца
на местность будет нанесен.
Как рубит кость тупым железом
военно-полевой хирург,
в таежные увалы врезан
квадратно-симметричный «бург».

2

Стоит гора, и однобоко
спадает к речке крутизна,
и на вершине одиноко
торчит корявая сосна.
Ее разнузданные корни
привольно выются среди трав,
и это наглый вызов норме,
о геометр, как ты прав.
Река ведет себя как хочет,
она петляет там и сям,

то в перекатах пророкочет,
то разольется по лугам.
То вздыбится хребет Урала,
подъемля камни в небеса,
то опускается устало,
к озерам плитами скользя.
Сегодня так живет природа,
а завтра, способ уяснив,
над страшным именем Свобода
людской застынет коллектив.
Природа провокационна,
гора и океанский вал
еще и со времен Сиона
диктуют людям идеал.
Так можно ли терпеть соседство
привольных гор, озер, холмов
при обустроеньи немецких,
хотя б по звуку, городов?
Руби ж ее, руби природу,
рубеж прокладывая там,
где кто-то вспомнит про свободу,
присматриваясь к небесам!
С линейкой, циркулем и вагой
врезайся в древние пласты,
свободно дышащие влагой,
и всюду ставь свои посты.
В принципиальнейшем вопросе
о переделке диких мест
на оси налегай, на оси —
вглядись, как симметричен крест.
Пусть геометрия распятыя
взлетит на самый гордый холм,

как бы раскинувши объятья
всем, кто отягощен грехом.
Всем, кто корежил и таранил,
всем, кто насиловал, как мог,
грехи отпущены заране.
Молчи, природа, с нами Бог.

СТРАНА СОСЕДЕЙ

ПОЭМА

Из цикла «Помы старого дома»

1

*Ч*е миллионщик, не бедняк,
чиновник горный, Хмуров некто,
в строй Вознесенского проспекта
поставил этот особняк
тому назад лет сто примерно.
Его фасад устроен так,
как диктовал закон модерна:
несимметричен, в семь окон,
узоры в виде волокон,
навес над дверью на цепях,
резной орнамент на дверях.
Двенадцать мраморных ступеней
ведут в широкий коридор,
скрывает звук шагов ковер,
и на стене рога оленя
несут смиренно тяжесть шуб,
блестит паркет — мореный дуб.
Во всем довольство и уют,
в хозяйстве не видать изъяна,
встают не поздно и не рано,
со вкусом и едят, и пьют.
Жильцам их дом весьма приятен.
Вот детская. Вот кабинет.
Столовая. Ватер-клозет —
всегда исправен и опрятен.

Обтянуты железом печи
и ровное тепло струят,
за окнами морозный вечер,
проспект в сугробах, снегопад.
Хозяин в строгом кабинете
сидит над важным чертежом.
Но чу! — пропел хрусталь в буфете:
то, будоража целый дом,
румяные вбегают дети...

2

Все это сон. Чиновник горный
умчал вослед за Колчаком,
и особняк его просторный
недолго простоял молчком:
его отвоевал уком
для молодежи пролетарской,
и в дом вселился дух бунтарский.
Куском зари над крышей флаг,
над входом лозунг кумачовый
взывает быт построить новый,
поскольку старый — ярый враг.
Где Хмуров в форме вицмундирной
висел, уставясь в объектив,-
там к революции всемирной
по всей стене летит призыв.
Все общее: еда, дровишки,
вся хмуровская мебель, книжки;
под алой сенью кумача
посуду до последней ложки,
обувки даже и одежды

обобществили сгоряча.
Дрова пилили и кололи,
и общий огород пололи,
стирали, стряпали, мели,
квартал ночами охраняли,
и пели, и митинговали,
и на субботник вместе шли;
и общий дом, ковчег суровый,
идти через шторма готовый
до берегов отчизны новой —
Коммунистической Земли, —
Коммуной гордо нарекли.
...Гармонь по залу сыплет жарко,
вскипает третий самовар!
Не под фатою коммунарка,
в косоворотке коммунар.
Пляши, братва! Гармошка, жарь!
И молодым их брак законный
брошюрой Маркса, как иконой,
благословляет секретарь.
Взорвался «красной» свадьбой дом!
За ней еще одна, и третья...
И в доме закричали дети.
И что-то изменилось в нем.
Хоть приучить себя сумели
хлебать из общего борща,
но мыслимо ли, в самом деле,
растить младенцев сообща?
Оно, понятно, идеалы...
А дети все-таки свои.
И сквозь Коммуну прорастало
явление древнее Семьи.

Красив и краток лозунг гневный,
но быт коварен повседневный,
и крепко гнет житье-бытье,
а молодость пошла на убыль,
и соблазнял окрепший рубль
иметь хоть что-то, но свое.
Кто первым был, уж неизвестно —
кто персональный, полновесный
сундук поставил в коридор.
И этим начался раздор.
Все комнаты разгородили,
конфликтно мебель поделили —
кому кровать, кому комод,
и керосинками забили
всю кухню общую — и вот
Коммуна стала коммунальной
квартирой; дух возник скандальный,
в который Зощенко вникал
и сочный юмор извлекал
с улыбкою, слегка печальной...
Но стоп, ирония. Учтем:
из героического быта
тех первых лет не все забыто,
и, как тогда, отмечен дом
взаимовыручкой простою;
все друг у друга на виду
и учены своей нуждою
делить соседскую нужду.
Не говоря уж — умер кто-то,
тогда — всеобщая забота

похоронить и помянуть,
вдове несчастной подмогнуть.
И на поминках, над граненым
стаканом бражного питья,
вдруг запоют с протяжным стоном,
горюя, как одна семья...

4

Когда б ни привели дела
мне проходить случайно мимо,
коснуться мне необходимо
его стены, его тепла,
и ручку синего стекла,
как руку друга, пожимаю,
и удивляюсь, что цела.
Войти? Но стоит ли? Не знаю...
Здесь молодость моя прошла.
Здесь, с малых лет произрастая,
я, географию читая,
знал, что страна — одна шестая,
шестая часть планеты всей,
но я не чувствовал масштаба,
в пространствах разбирался слабо,.
соседи были мне народы,
а дом, дворы и огороды —
страною первою моей.
...Январь! Дымы из каждой печки
торчат во тьме, как богу свечи!
Столбы, заборы, провода,
сараи, флигели, пристройки,
и одинокая звезда

горит над желтым льдом помойки.
Мороз под сорок! Куржаком
пальтишка воротник украшен.
И строй поленниц мрачных страшен
мальчишке. Он вбегает в дом.
Соседи, милые соседи!
Я помню общий коридор,
дверные ручки тусклой меди,
парадный вход, крыльцо во двор.
Возвышенные потолки,
чернеющие в отдаленье,
в печах трескучие поленья,
вдоль стен лари и сундуки.
На стенах обнажилась дранка.
За каждой дверью голоса:
и смех, и плач, и перебранка.
На табуретах примуса —
царьки в коронах синеватых.
Покомнатная роспись платы
за электричество. Листок
приколот к стенке, на гвоздок.
А кухня в отблесках багровых,
и, снизу доверху в покровах
мохнатой копоти, плита
безумным жаром облита.
А рядом вечное корыто
дымится, облаком обвито,
во мраке тает потолок,
и тетя Маша ли, другая
качается, изнемогая.
На стены брызжет кипяток,
доска стиральная визжит,

и пена клочьями летит!
А там, под кухнею, в подвале,
точильщик Миша, инвалид,
ножи и ножницы вострит,
и на груди его горит
кружок единственной медали.
«Здорово!» — глянул на меня.
Над наждаком роятся искры...
И Михаил басит: «Броня
крепка и танки наши быстры!»
Сойдутся вместе мужики —
всё костыли, рубцы и шрамы,
тот без ноги, тот без руки,
а этот вот — счастливый самый:
весь уцелел! Лишь пальца нет.
Смеется: «Тот ли это палец!
Вот был бы тот — тогда привет!»
Девчонок лапает: «Попались!»
Да, у спасителей державы
просты и грубоваты нравы,
и мы перенимаем их.
Росли под женскою рукою,
теперь мы ходим под мужскою,
и кто из нас не груб, не лих?
Биток, рогатка, самокат,
учебники в суме холщовой,
блатной куплет, словечко «гад»,
и драки двор на двор суровы.
Под летним небом, зимним небом
в очередях за черным хлебом
стоим, но грусти в этом нет.
Ого: промчал трофейный «опель»!

И мы глядим ему вослед.
А по двору цветет картофель,
сиреневый и белый цвет...

5

А где-то там, вдали, лежала
большая, главная держава,
и голос, полный торжества,
вещал нам: «Говорит Москва!»
Москва с утра нам сообщала
рекорды мирного труда
и много счастья обещала
нам всем в ближайшие года,
когда отстроим города,
испеленные войною,
и реки повернем на юг,
укроемся лесов стеною
от зноя суховейных вьюг...
И вдруг: тревожный бюллетень
о состоянии здоровья...
И дымных городов становья,
и россыпь сел и деревень
гигантская накрыла тень.
И в ней, в тени, шептались слухи:
что, мол, еще позавчера...
что отравили доктора...
И прочее в подобном духе.
Но вот по радио с утра
поплыли траурные марши.
И — объявили. Детвора
и та притихла. Кто постарше

рыдали, не скрывая слез.
При том, что март был — был мороз.
Оцепенелые равнины,
как горем сдавленная грудь...
А век, достигнув середины,
звал за собой, в дальнейший путь.
И торопилась, полнясь гулом,
весна, разламывая льды.
И, как зацветшие сады,
освобожденно грудь вздохнула.
Он, великанский этот вздох,
омыл страну, как ветер свежий, —
до океанских побережий,
топорща в тундре жесткий мох.
И чудеса сбывались — да!
Хотя бы — северное чудо:
нет, реки всё текли туда,
но люди потекли оттуда!

У комендантши боевой
сегодня на весь дом — пельмени:
муж возвращен в родные сени,
беззубый, черный, но живой.
Сосед ему: «Обижен?» Тот:
«А ты как думаешь?» — ответил.
Соседский взгляд нетрезвый встретил,
добавил: «Ничего... Пройдет».

6

Взрослеют дети, никнет дом,
отремонтировать — куда там,

когда приговорен на слом.
Дрожавший прутик стал стволом —
его сажал я в сорок пятом,
и мальчик рвется в высоту,
ползет по бывшему пруту.
Взрослеем мы, а дом ветшает...
Но пусто в доме не бывает,
сгорают новые дрова,
здесь безутешно отпевают,
а здесь поспешно пеленают,
и жизнь по-прежнему жива.
Вновь деревянный строй поленниц
течет через январь. Младенец
курлычет в тряпочке своей,
вдыхая жар нагретой печки,
и в торопящемся сердечке
желанье вырасти скорей,
увидеть мир и самому
себя впервой представить миру...
Но вырастет в большом доме:
отцу завод дает квартиру.

7

Страна моя, страна соседей,
ты стала новой жизнью жить,
старьем не хочешь дорожить,
и обложили, как медведей,
последние особняки.
Они мешают магистралям,
микрорайонам, светлым далям...
Поклон вам низкий, старики.

Бревенчатые наши зыбки,
вас ветер времени качал,
младенцев зыбкие улыбки —
начало нынешних начал.
За что с плеча сегодня бьемся,
что ненавидим, не простим,
над чем в открытую смеемся,
о чем в бессонницах грустим,
в чем наша слава в целом свете
и место среди прочих стран —
оттуда, из страны соседей,
где пели примус и баян.
Одною вечной скрепой сбиты,
одной суровой нитью сшиты
державы мощь, ее простор,
заглавных площадей граниты
и коммунальный коридор.

8

А все-таки — дела, дела.
Того гляди, и опоздаю...
К тому же туча наплыла,
до черноты лилова с краю.
Прощай, мой дом. До новых встреч.
В ответ крыльцо поет скрипуче...
Вдруг, как занявшая печь,
блеснул огонь в утробе тучи!
В железо крыш ударил гром,
как мальчуган босою пяткой,
и закружился над двором
от пыльных вихрей запах сладкий.

Прохожий мчится от беды,
и где-то хлопнуло окошко,
к стене прижалась, горбясь, кошка...
И — рухнул океан воды!
Да, ливень с гулом океана
зарокотал по мостовым,
и улица видна туманно
сквозь водяную мглу и дым,
все — рокот, свежесть, мгла и влага,
в ручьях кипит бумажный сор,
и тополь моет свой вихор,
как после смены работяга!
И я, как тридцать лет назад,
с проснувшейся детской прытью,
рванулся прочь из-под укрытья
и окунулся в водопад!
И, как ручей, в ручей впадая,
я в детство впал и, как ручей,
бежал, пути не разбирая,
в скрещенье водяных мечей!

...Вновь на асфальте толчея,
и смех, и говор оживленный,
и чей-то беглый взгляд влюбленный
ловлю случайно с ходу я.
Я, может быть, влюблен и сам!
Меж тем над крышами квартала,
раскинув мост по небесам,
такая радуга вставала!
Как будто времени река
струилась в небе: семицветье,
беря исток издалека,

текло в соседнее столетье.
Поток был в вечность устремлен,
не прерывалась связь живая,
и лился в будущее он,
незабываемых времен
и в будущем не забывая.

ПЕРЕПРАВА

Узнать весну по теплым волнам света,
по гомону и свисту птичьих стай,
по лепесткам и стрелкам первоцвета —
как не узнать? А ты ее узнай

в озябшей роще, на краю простора,
где различим немилосердный звук:
как перевод ружейного затвора —
под ветром веток треск и перестук.

Дома в дома глядят оцепенело.
Еще высок под окнами сугроб.
Но колея заметно потемнела,
а у пригорка обнажился лоб.

Под спудом у светающего поля,
где отсыревший снег тяжел в горсти,
в глухие корни прибывает воля
опомниться, очнуться, прорасти.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

*Д*ень рождения —
день прощения
гнева
и
переполненных чаш его.
День рождения —
день прощения:
«О помилуйте!» —
высочайшего.

День рождения —
дорожание
тех, кто был и исчез.
День рождения —
день разжалования
очевидных чудес.

*П*реклоняю колена
пред тобою, рутина!
Сунул в печку полено,
а в нем спит Буратино.

Я по клавишам нудно долблю,
черный ящик гудит без эмоций.
В нем, сверкая глазенками, в самом углу
притаился маленький Моцарт.

Прорастает на окнах январский сад.
Дремлет в блеклых обоях былая
расцветка
Под косяк — лет пятнадцать назад —
точно помню: закатилась монетка.

*М*артовские граждане
сдурели, озверели,
постовые распяты
на крестах ветров,
зазывают посвистом
колдовской свирели
продувные бестии дворов.

Обнажились ходы
городских расселин,
хлынула прохлада
горлами ворот,
в марте ветер свищет,
как Сергей Есенин,
ледящей лапой
за душу берет.

Март купает в лужах
воробьев продрогших,
дует в жестяную
звонкую трубу,
и тишайших девочек,
за зиму проросших,
чьим-то глазом косит,
как косой — траву.

Семнадцать лет, пиджак вельвет
и алая косоворотка,
и, усмиренная, вослед
глядела жизнь светло и кротко.

И ты проходишь, как весна,
ловя застенчивые взгляды,
ты новичок, ты новизна,
которой заждались — и рады.

Еще твои листы чисты,
но, ненаписанная повесть,
ты, молодость, и только ты —
неувядаемая новость!

У же прошла зима,
но не пришла весна,
луч солнечный горяч,
а почва ледяна.

И заново глядишь
на пруд, на берега,
от детства отойдя
всего на полшага.

А кацию стригут,
секаторы визжат,
последний мусор жгут,
последний снег зажат
в горстях у ямок, ям,
канавок и лощин,
и светел взгляд и прям
у женщин и мужчин.
Какой пустой простор,
какой спокойный взгляд,
какой красивый сор,
и горек аромат
у палого листа,
и невесома тень
от голого куста,
какой просторный день.

Жгли палую листву
в апрельский выходной,
жгли прошлую весну
сегодняшней весной.
Был прошлогодний лист
проржавлен, влажен, мглист,
он не горел, а тлел,
сквозь толщу мертвых тел
тек волокнистый дым...

Я помню молодым
погибший этот лист.
Он был прозрачен, юн,
он соткан был из струн,
как детский сон, душист,
сорви его и съешь,
и станешь юн и свеж...

Промыт дождем, апрель
дрожал, как акварель,
и в рыхлой раме туч
блуждал пресветлый луч.
Над грязью городской
произрастал покой,
стоял зеленый рай,
и жил в нем птичий свист...
Я помню этот лист,
его зубчатый край,

его пахучий клей,
лизни, приклей к письму,
отправь его тому,
кто уж ни от кого
давно не ждет письма,
тем боле — твоего,
и удивлен весьма...

Но клей просох, письмо
не написалось, но
волненью равных фраз,
возможно, не нашлось?
Ты в следующий раз
пиши хоть вкривь, хоть вкось,
не думай ни о чем,
блуждай среди листвы,
где вновь акварелист
над теми, что мертвы,
взметнет дрожащий лист...
Но был упущен миг,
но так и понимай:
вознесся дух и сник,
апрель мужал и рос,
перетекая в май
под гром известных гроз.
Рай потемнел, окреп,
он стал держава, мощь
густых округлых куп,
круглее спелых реп;
был крупен летний дождь,
питателен и груб.
Я помню, этот лист

был, как брезент, могуч
и защищал июль
от ливня тяжких пуль,
они пробить рвались
уступы куш и круч,
по каждому листу
бия, как по щиту.
Он, помню, стал румян
на ветреной заре,
мерцая сквозь туман,
густевший в сентябре.
Он, помню, этот лист,
как лист календаря,
стал красен, золотист
в раскраске октября.
Стал золотист, багров,
меж тем свежел простор,
и наступил покров,
и, приводя в восторг
палитрой красок взор,
висел на ветках морг,
и вынос мертвых тел
шел по спиралям, гроб,
в тяжелом блеске от
парчовых позолот,
по штопору летел,
разбиться оземь чтоб...

Но вот и пройден круг,
а может быть, овал,
и выяснилось вдруг:
год был, да миновал.

Над грудой ржавых руд,
над местом панихид,
вновь вспыхнул изумруд,
растекся малахит.
Вновь райские шатры
над грязью вознеслись,
зеленые костры,
прозрачный юный дым...

Новорожденный лист,
чей рост неуследим,
как детский сон, душист,
сорви его и съешь,
и станешь юн и свеж.
Новорожденный лист,
его зубчатый край,
его пахучий клей...
К большому торжеству
готовя светлый рай,
жгли палую листву
вдоль парковых аллей.
И на манер сетей
сплетались дым и дым,
зеленый дым детей,
чей рост неуследим,
и сизый дым отцов.
Был день прозрачен, тих...
Зеленый дух живых
и сизый — мертвецов.
На тысяче костров
жгли миллион смертей,
и горький дым отцов
овеивал детей.

*М*ы пробежим апрельским парком,
нам этот путь давно знаком,
прочерченный вороньим карком,
синицы робким голоском.

Причала сгнившие подпорки.
Прибрежных камешков гряда.
Ржавеют лодки на пригорке
у разомлевшего пруда.

Так ветви кленов узловаты,
так трясогузочьи следы
запутаны, замысловаты
на влажной кромке близ воды;

в таких лохматых черных гнездах,
как в черных звездах, небеса;
таким бездонным эхом воздух
пронзают птичьи голоса;

ветвей, пока что полуголых,
так осязаем силуэт —
да будь ты хоть последний олух,
в тебе проклянется поэт!

Тому подобно, как в июне
синицы первенец, юнец,

скорлупку пеструю проклюнет
и выйдет к миру наконец.

Взъерошенный, как черт, в восторге
и потрясеньи глянет вниз,
младенческого клюва створки
продует, словно кларнетист,

и вдруг такое выдаст, дунет,
такое выкрикнет, нахал,
какое только что придумал
и сам впервые услышал!

Зачем увез ты, не пойму, меня в леса и рощи,
за чаркой посидеть в дому — нам не было ли
проще?

Зачем мне эта тишина, сады и огороды
и караулящий их пес неведомой породы?
Потрафить я тебе готов, о мой товарищ
верный!

Но уходить из городов не ты придумал
первый.

Бежать из каменных громад, покинуть Рим
навек

еще две тыщи лет назад звал Плиний
Старший некий.

И вот какой примерно вздор нес этот
Старший Плиний:

«Природа нам смягчает взор обильем
плавных линий;

соседство с лицами труда физически простого
лишит вас раз и навсегда тщеславия пустого;

в деревню, в глушь беги, поэт, в поля
и огороды,

божественный и мудрый свет исходит
от природы.

Поговори с ней языком лесным, сосновым,
птичьим

и ниц пади пред стебельком, перед его
величием!»

Он, может, говорил не так, и переврал
я смело,
ведь я и сам болтать мастак. Но разве в этом
дело?
Быть должен молодым поэт, а я, как видишь,
старый.
Мне сорок лет — и весь ответ. Сходи-ка за
гитарой.
Мы из Высоцкого споем, мы вспомним
Окуджаву
и вместе с этим мощным псом здесь заживем
на славу.
Ты где носился, весь в репьях? Гляди, как
важно дышит...

А эти чертовы стихи пусть молодые пишут.

ГЛУХАЯ СТАНЦИЯ

Полдня пустынен перегон.
Здесь ожидания терпеливы.
Дощатый утонул перрон
в свирепой заросли крапивы.

Июльский вечер. Облака
смыкаются. Густеют тени.
Идет гроза издалека.
Недвижны жгучие растенья.

Звенит над рельсом стрекоза.
Какие крупные стрекозы.
Под лавкой пес прикрыл глаза,
как бы выдавливая слезы.

Земля под поездом дрожит,
пропел гудок на виадуке,
и девочка ко мне бежит,
раскинув маленькие руки.

Здесь свод пещерный в кляксах стеарина,
здесь пир туристских баз, здесь льстивою
рукой
угадана в скале, царит Екатерина
над пропастью небес, над бездною морской.

Здесь в трещинах горы таится канонада,
и дремлют ящерицы в колеях дорог,
и в шаге от бывшего камнепада,
презрев судьбу, теснится городок.

Здесь Пушкин наблюдал тоску и постоянство,
с какими к берегу за валом катит вал,
и, мыслию обняв бурливое пространство,
угрюмым океаном называл.

Я кружу, не спросивши дороги,
у подножия Крымской гряды.
Эти улочки так кривоноги,
как былые джигиты Орды.

Узкоглазы дома и скуласты,
все мне кажется: из-за угла
в перьях радужных и цветастых,
в петушиных, сорвется стрела.

Я забыл свое прежнее имя,
называйте меня, как пришлось,
знаю, дышит губами моими
винограда дремучая гроздь.

Здесь, у треснувших стен Аю-Дага,
на колючем и сером песке,
я хочу умереть, как бродяга,
с опустевшею кружкой в руке.

Встаньте в строй, пионеры «Артека»!
В августовском счастливом Крыму
вы хороните человека,
не известного никому.

*П*оверь, что жизнь необычайна:
прибой и пена, свет и мгла,
над тайной пролетела тайна,
под тайной тайна проплыла!

Так много снов, так мало истин,
и нам природа говорит,
что образ жизни так таинствен
у лиловеющих ставрид.
Так непонятен мир медуз
и так загадочно прозрачен.
А двух сердец людских союз
так безнадежно однозначен.

Ну, молодость. Ну, красота.
Любовь так, в сущности, проста.
Покуда слышишь: «Нет», она
таинственна. Она, покуда
ты слышишь: «Нет!», населена
одними призраками: чудо!
Когда же ты услышишь: «Да»,
то, как вода в песок прибрежный,
уходит тайна навсегда,
лишь остается привкус нежный
соленых брызг, и вздох волны,
и тайна, отвергая узы,
прозрачной юбочкой медузы
взмахнула нам из глубины.

О, рокотание прибоя,
во тьме бредущий великан,
несущий тяжкое, такое,
чему обет навеки дан.

Морской Сизиф валы вздымает,
к вершине тащит их из мглы
и обессиленно роняет...
И убегают вспять валы.

Победы полной невозможность,
тщета усилий — что с того?
Его тоска и безнадежность
сильней безверья твоего.

Приглушены его рыданья
и неразборчивы слова
в часы напрасного старанья
и в миг короткий торжества.

Я понял твои речи, море,
прошу, и ты меня пойми:
быть откровенным в разговоре
с тобой мне легче, чем с людьми.

Твоей красноречивой влагой
отдельных слов не передать,
косноязычие — во благо,
когда в нем брезжит благодать.

Ты наших говорков предтеча,
ты наш вселенский праязык,
я понял, море, твои речи
и откликаться им привык.

В стране, снегами занесенной,
я ими буду дорожить,
И в раковине увезенной
их слабый отзвук будет жить.

*...В роковом его просторе
Много бед погребено*
Н.Языков

Цайки плакали, кричали,
тосковали по земле,
море, смой мои печали,
раствори в соленой мгле.

Раствори в бездонной чаше,
опусти на глубину.
Много там печалей наших,
но прими еще одну.

Сколько их тебе за вечность
довелось перемолоть!
Что добавит в бесконечность
эта малая щепоть?

Перемелешь — не заметишь,
осчастливишь — не поймешь...
Но ты медлишь, море, медлишь,
мой подарок не берешь.

Раскачался в мертвой зыби
твой мрачнеющий простор:
вдруг щепоть перенасытит
без того крутой раствор?

Ты давно боишься, море,
что скует твою юдоль

человеческого горя
кристаллическая соль...

Море горечью крепчает,
чайки чуют, быть беде,
чайки наши беды чают,
не ночуют на воде.

Люди режут по живому.
И привольно кораблям
плавать из дому и к дому
по печалям и скорбям.

О паузы... о нарастающа...
и рвущиеся паруса!
О всхлипы, возгласы, рыдания —
ночного моря голоса!

В сплетенном воедино гуле
подробностей не услыхать,
чью жизнь простую — не мою ли? —
спешит волна пересказать?

Душа в светающем просторе,
как всех простившая, легка,
и, словно сердце, бьется море
в большой груди материка.

*П*ак вот как закончилось лето,
под тучами хмур Аю-Даг,
разлука, твой цвет фиолетов,
запомню — закончилось так.

Недолго душа пребывала
в краю, где безумствует зной,
на той стороне перевала
откроется север сквозной.

Там инеем схвачены травы,
над соснами стынет закат,
и, как боевые заставы,
угрюмые ели стоят.

О взбалмошный и двоедушный,
лукавый и пламенный юг,
о север, разумный и скучный,
трудов и усердия друг!

Степные дороги, как веер,
но я обмануться не дам,
на север, на север, на север!
К спокойным его холодам...

Юности крутые берега,
посмотри — они уже в тумане...
Смутно различимая рука
машет ли прощально или манит?

Старости пологи берега...
Обернись — они еще в тумане...
Смутно различимая рука
предостерегает или манит?

Посмотри — смыкается твой след.
Следующим — трудная догадка:
плыл кто перед ними или нет?
Думать, что единственные, — сладко.

Из-под весел рвутся буруны,
но недолго тянутся за мною,
что же тут попросишь у волны,
тающей бесследно за кормою?

Я бы ее все же попросил
добежать до берега крутого
и качнуть, насколько хватит сил,
поплавок мальчишки-рыболова.

1

Солнце нежится в тумане,
солнце падает во тьму,
дремлет остров в океане,
не известный никому.
Словно греческие мифы,
облака над ним плывут,
скалы грозные и рифы
входы в бухту стерегут.
И деревья-исполины,
разрастаясь до небес,
украшают путь в долины,
в доли, полные чудес.
Здесь на пастбищах богатых
бродит вольный дикий скот,
здесь непуганых пернатых
неумолчен хоровод.
Золотятся апельсины,
и синеет виноград,
и медовый над долиной
густо виснет аромат.
Беспримерен, бесподобен
первозданный райский вид!
«Бедный Робин! Бедный Робин!» —
глупый попка говорит.
Но, гуляя вдоль прибоя,

не глядит за горизонт,
примирен и успокоен
и не беден Робинзон.
Жертва и любимец бури,
все погибли, он один,
босоногий, в козьей шкуре,
этим рощам властелин.
Он своим доволен раем —
виноградною лозой,
говорящим попугаем,
прирученную козой.

Да, судьба его отторгла
от холмов родного Йорка,
от дубовых рощ, полей.
От туманной и воздушной,
от надменной и радушной
старой Англии своей
отлучен островитянин,
облик в памяти туманен
матери, отца, друзей.
Ах, друзья, за кружкой эля
как же славно просидели
мы рождественскую ночь
и хмельными голосами:
«Правь, Британия, морями!» —
распевали во всю мочь.

Звуки родины, напевы,
мать, отец, подруга, где вы?
Девы нежного лица
не припомнить — стерлось, смылось...

Как единственная милость,
снилась мать возле крыльца.
Но зато судьба-судьбина
охранила божья сына
от торгашеских утех —
обогнать, урвать, слукавить,
там убавить, там надбавить,
обмануть и тех, и тех:
ты ловкач, а я — ловчила,
ты успел, и я уж тут!
А взамен она вручила
одинокчество и труд,
серп, лопату и мотыгу,
компас, порох и мушкет
и единственную книгу,
высшей мудрости завет.
Вдохновленный тем заветом,
твердый духом, как скала,
что ни день, встает с рассветом
и берется за дела.
«Это божье провиденье», —
мыслит, счет ведя годам,
чист, как до грехопадения
первый сын Земли Адам.

2

Солнце тонет в океане,
меркнет свет его лучей.
Робинзон бредет в тумане
с попугаем на плече.
Океан шумит, огромен.

Бродит в скалах Робинзон.
«Бедный Робин! Бедный Робин!» —
глупой птице вторит он.
Он бессонницей измучен,
жадно вперился во тьму,
плеск весла и скрип уключин
всюду чудятся ему.
Океан лежит, как старость,
тьма и тьма со всех сторон.
В этот час увидеть парус
так безумно жаждет он.
Парус, парус! Хоть пиратский!
Голос, голос! Хоть какой!
Хоть громоподобной, адской,
страшной ругани морской!
Жаждет воссоединиться
с человечеством своим,
чтобы с женошкой браниться,
напиваться элем в дым,
снаряжать корабль купецкий
и с командой молодецкой
путешествовать в морях —
«Правь, Британия, морями!».
Торговаться с дикарями,
богатеть на дикарях;
обогнать, урвать, слукавить,
дом поставить и обставить,
наживать, копить, хватать...
И ночами, как в тумане,
о лежащем в океане
райском острове мечтать.

*К*икто не знает, сколько лет ему отпущено,
а детству кажется, что вечность перед ним,
а юность в страхах корчится ночных,
узнав, что есть у вечности границы.
А зрелость в повседневной суете
забыла про неведение детства
и муки юности —
живет ближайшим днем.
Лишь старость, все поняв,
торопит срок
и истово благодарит природу
за щедрый дар.

ПЕСОК

Как в пустыню погнал суховой,
как их новые страны знобили,
в вековой дороге своей
сколько родин они полюбили.

Кто швырнул эту горстку песка,
взвихрил эту песчаную вьюгу
и понес ее через века
кочевать по всемирному кругу?

Много раз пересыпана горсть
из долины в другую долину,
и песчинки рассыпаны врозь,
вросши в чуждые камень и глину.

Но опять запоет ветерок
и покатит их с шорохом к югу,
осыпая на отчий порог
по второму и третьему кругу.

*А*х, к черту ночные угрюмые споры,
борьба самолюбий ничтожных и мысли
вразброд,
смотри: мы крылаты,
смотри: перед нами просторы,
и свежая осень на ржавых осинах цветет!

А день впереди расстилается дикий,
свободный,
огромный, как в юности...
И ударяет, как плеть,
нас вихрь сумасбродный,
и облака отблеск холодный,
взгляни — указывает,
куда нам лететь и лететь.

1

В том северном городке
я гостем случайным был.
По северной серой реке
случайно туда приплыл.

Я прибыл издалека,
я быстро уснул и затих,
и северная река
текла в сновиденьях моих.

А утром, еще не встал,
и мысли были легки —
я девушку увидал
с глазами цвета реки.

«Что снилось? — спросила она,
небрежно присев на кровать. —
Значенье любого сна
могу тебе растолковать».

Так просто произнесла,
как будто расстались вчера.
Как если бы к брату пришла
сказать «С добрым утром!» сестра.

Не скрою, я был удивлен.
Но, сам церемоний враг,

послушно припомнил сон
и я ей ответил так:

«Приснилась мне ваша река.
А может быть, просто вода...»
Она огорчилась слегка:
«Тебя ожидает беда».

Был взгляд ее серых глаз
как севера тихий ливет,
и я в нем прочел приказ:
открыть свой важный секрет.

И я ей сказал: «Не пойму,
какая беда от воды?
Я прибыл сюда потому,
что прячусь от старой беды

Я еду, лечу и плыву
с надеждою, что навсегда,
покуда еще поживу,
меня потеряла беда».

Она помолчала. Она
сказала на это тогда:
«Нет-нет. Та уже не видна.
То новая снилась беда».

2

В прогулке отсутствовал план.
С моею гадалкою, с ней,
мы шли средь брусничных полян,

брели через топкий ручей.
Мы к берегу вышли. Крепчал
здесь ветер, и было темно.
Чернел одинокий причал,
людьми позабытый давно.

Челнок, погрузившись на треть,
тонул среди стылой воды.
Мне радостно было смотреть
в глаза своей новой беды.

«Ты мне разгадала мой сон.
Сулит неприятности он.
Мне надо беду ожидать.
Какую? Прошу погадать!»

По всей бесконечной реке
лег мягкий закатный огонь.
«Могу погадать по руке».
И я протянул ей ладонь.

Был хмур у гадалки взгляд,
был облик ее суров,
был голос ее хриловат
от северных крепких ветров:

«Есть люди — им на роду
написано: день за днем
искать за бедой беду,
и радость их только в том.

Есть люди судьбы иной:
им следует навсегда

прибиться к беде одной,
и в том только их беда.

Вот знак твой — особый знак.
Ты видишь: пересеклись
две линии — так и так,
а дальше в одну слились...»

Мне весело было смотреть
в глаза своей новой беды:
«Но что это значит, ответь?
Я дам золотой за труды!»

Спокойный вечерний свет
лежал на притихшей воде.
«Отвечу... И вот мой совет:
вернись к своей старой беде».

3

Шел катер, он был занесен
в туман, и текла река.
Как смутный, тяжелый сон,
текли ее берега.

Тонули огни в воде...
Что ж, так тому и бывать:
пора возвращаться к беде
и с ней до конца бедовать.

Две линии навсегда
в ладони сошлись углом,
и в том лишь моя беда.
А значит, и радость в том...

ЯНВАРЬ

*Д*ремал за окнами январь,
ворочаясь в больших сугробах,
как престарелый государь
на простынях своих суровых.

Январь зажег себе фонарь,
чтоб до рассвета довертеться,
сугроб раскинут, как словарь,
на слове, выученном с детства.

Лежат глубокие снега.
Клюют рябину свиристели.
И жизнь, как прежде, дорога,
хоть и прошла не как хотели.

ПРОЩАНИЕ С ГОЛЛАНДКОЙ

ПОЭМА

Из цикла «Поэмы старого дома»

1

Крестьянской печке воздано сполна,
прославлены горячие полаты
и щей горшок, несомый на ухвате,
а к ним и чарка хлебного вина.
Веселие царит в твоей избе,
в тебе огня немало и задора,
что сказок, что пословиц о тебе,
печь русская, любимица фольклора!
Твой кот-мурлыка мудр и родовит,
мышей не ловит — не его забота.
Все больше сказки баять норовит,
да песни распевать ему охота,
да под столом плясать,
кружить выюном,
себя за пышный хвост таская...

А у меня меж стенкой и окном
твоя сестра хлопочет городская.
Старается, конечно, но — куда...
Рассохлись бревна, стены просвистало,
унылый холод льется из подвала,
дом прохудился, и сама худа.
Хозяина согреть — напрасный труд,
хотя б себя, бедняжка, обогрела:
простужена, чихает то и дело,

и кашель по-чахоточному крут.
Закашляется — ну, заслонкой хлопать!
Под самый потолок взлетает копоть,
и сыплется побелка с потолка.
Чумазая и нервная особа,
за ней глядеть бы полагалось в оба,
да в городе не сыщешь печника.
Ах, мне бы бедолагу подлечить
и тягу ей здоровую направить,
путевку хорошо бы получить,
на юг старушку, -к солнышку отправить,.
А то к сестре, под деревенский кров,
где кот-мурлыка рассказывает сказки,
где вдосталь сытных, калорийных дров
везут с утра тяжелые салазки.
Сосна ядреная, каленая береза,
как балалайки, звонкие с мороза!
А наш паек куда как знаменит:
у нас заплесневелая осина
плюется дымом, просит керосина
и злобно, по-змеиному шипит.
Хозяин храбро бьется со змеею,
как мушкетер, фехтует кочергою,
но вот, гляди, умаялся боец,
и в позе подозрительно бесстрастной
он сладко дремлет ли, жилец несчастный;
а может, угорел и не жилец?
Живехонек! Задумался слегка:
он озарен, он что-то сочиняет,
его угарный дух воспламеняет,
и, вся в дыму, рождается строка.
У печек славно пишутся стихи

об одиночестве, о странных встречах.
Не получились — тут же можно сжечь их:
«Еще напишем! Что за пустяки!»
Немало мы с тобою сочинили,
немало мы и по ветру пустили,
в трубу, на согревание небес.
Пусть нас они в ответ не согревали,
а мы терпели и не унывали,
не без надежды глядячи, не без!

Теперь прощай, любезная моя.
Мы двадцать с лишним прожили бок о бок
Я скрытен был для многих, хоть не робок,
и лишь с тобой делился дружбой я.
Давай в последний раз переберем,
над чем трудились двадцать лет вдвоем.
Пойдем обратным ходом, по порядку...
И вот — из дальней дали извлечем
заметно пожелтевшую тетрадку...

Зубец огня летит из тьмы времен,
где я себя осознавал впервые.
Я первое, что помню, — твой огонь
и на стекле растенья ледяные.
В сугробах утонувшие дома.
Ночной сугроб на утреннем крылечке...
Когда ни вспомнить — все была зима,
и что ни вспомнить — все плясать от печки.

2

То смутною картинкой полустертой,
то, как на фоне дальнего костра:

год тыща девятьсот сорок четвертый.
Январский вечер. Бабушка, сестра.
Мне шесть, седьмой. Сестра немного старше,
Мы на высоких стульях у огня.
В тарелку радио бьют боевые марши.
Вид пламени заморозил меня:
уголья превратились в небывалый
дворец волшебный, золотой и алый.
А рядом закружились карусели...
Но вот знакомо скрипнуло крыльцо —
вернулась мама! Смуглое лицо.
Ресницы, опаленные метелью.
В снегу пимы, ушанка, пальтецо.
Шагнула к печке. Варежки снимает.
К горячей стенке пальцы прижимает.
И замерла... Еще душою в том
высоком красном зданье госпитальном,
в той тесноте, в том воздухе печальном,
где боль и крик спеленуты бинтом.
Я там бывал. Стучали костыли.
И тело, забинтованное туго,
по коридору на столе везли,
и прыгали колесишки упруго...

А радио ликует: Ленинград
освобожден и рухнула блокада!
И мы с сестрой: «Ура!!!» — в честь
Ленинграда.

Но бабушка и мама не кричат.
На Ленинградском фронте год назад
убит, схоронен под землей сырою
сын бабушки и мамы младший брат,

наш дядя, незнакомый нам с сестрою.
Но вот он — над диваном, на стене.
Он с фотокарточки кивает мне.
Тужурка. Кепка с длинным козырьком,
Красивый парень. Он мне незнаком.
Он выхвачен из прошлой жизни. Жизнь,
которая была и миновала,
когда меня еще и не бывало.
На палубе, небрежно опершись
на поручень, он смотрит чуть устало,
как всем красивым юношам пристало.
Был у тужурки поднят воротник:
возможно, день был ветреным и свежим,
возможно, ветер пел над побережьем,
через минуту, может, шторм возник.
Как долго она тянется, минута.
Последняя минута тишины.
Мне много лет казалось почему-то,
что дата снимка — первый день войны.

3

Мне и поныне снится этот сон:
на нас живой глядит с портрета он.
Он взгляд обрел, но память потерял:
не понимает, как сюда попал.
С подробностями скромного жилья
какой-то дом. Какая-то семья.
Печь топится. Два малыша сидят,
о чем-то спорят, весело галдят.
Спиной к нему, склонилась у стола
над штопкой женщина немолодая.

Видна ему лишь лрядь ее седая:
в огне блеснула, снова в тень вошла.
Зима. Вечерний час. Из абажура
уютно льется розоватый свет.
В углах темно, таинственно и хмуро...
Зачем он здесь? Хотя б намек, хоть след:
зачем ему раскрыт на это взгляд?
Нехорошо разглядывать украдкой
чужую жизнь.
Вдруг озарен догадкой:
он здесь бывал!
Но много лет назад.
Широкий стол. Он сиживал за ним.
Шкаф с книгами. Знакомы переплеты.
Малиновый, с тиснением золотым —
там и обрез с пыльцою позолоты.
И абажур, и розоватый свет
припомнил он, и вместе с ними сразу
коричневый трехстворчатый буфет
и за стеклом фарфоровую вазу.
Подсвечники на старом фортепьяно.
Он клавиши его перебирал
и даже вспоминает, что играл.
И бой часов, и старого дивана
певучие пружины помнит он,
и по ночам буфетных дверок стон —
он ночевал здесь, судя по всему.
Но эти люди? Кто они ему?
Он размышляет... Скрипнуло крыльцо
под легкими поспешными шагами.
Пропела дверь в знакомой хриплой гамме,
и появилось новое лицо.
Вошедшая красива, молода.

Ее движенья выдают усталость.
Помедлила, как медлят иногда,
когда всего и сделать-то осталось:
налипший снег с воротника стряхнуть,
ушанку снять, пальтишко расстегнуть
и замереть в тепле родного дома.
Он жадно смотрит. Кажется, знакома
волна волос крутая у виска
и с ямочкою смуглая щека.
Не кажется — знакома! Ну... Пора
припомнить: кто же, кто она?.. Сестра!
А та, что старше, выпрямилась вдруг,
переступила освещенный круг
и, руки опустив, взглянула прямо
ему в глаза... О боже... Мама. Ма-ма!!!

4

Случилось это ночью... Впрочем, нет —
сперва о том, что мальчик знал секрет:
что, если, насмотревшись на огонь,
зажмуриться, прижать к глазам ладонь —
в них огонек зубчатый поплывет,
в них отпечаток пламени живет!
Теперь про ночь, когда случилось это.
На окнах стынет ледяная муть...
Багрово-золотистый оттиск света
плывет по стенам, не дает уснуть.
И мальчика подхватывает пламя,
несет через метельную страну,
под звездами, сквозь тучи — на войну!
Он видит город, занятый врагами.
Он летчик! Рассекая воздух грозно,

пошел в пике крылатый бомбовоз...
«Та-та! Та-та!» — зенитки бьют... Но поздно:
удар и взрыв — и зарево до звезд!
Пальба и стоны... «Драпаете, гады?!
За Ленинград! За дядю! За блокаду!»
Он голову с подушки подымает:
слова, как золотые петухи,
летят во тьме... И вдруг он понимает:
что это называется — стихи!
Они грубы и громяхают градом...
А стон все ближе.
Он не там...
Он рядом.
На низенькой скамейке у окна
раскачивалась бабушка. Она
как будто заговаривала боль,
как маятник, раскачивалась ровно
и с кем-то разговаривала, словно
кого-то видя здесь, перед собой.
Быть может, жар и бред?
Она больна?
Ему к ней подойти?
Окликнуть маму?
На низенькой скамейке у окна
раскачивалась бабушка упрямо...

5

Замрите все. И ты оцепеней.
Земля, с войной проклятою своей,
пока, сцепив морщинистые руки,
в домах полночных молятся старухи

за души убиенных сыновей...
И, вызваны безумными речами, —
в сугробах вязнут, сквозь пургу бредут, —
к живым приходят мертвые ночами
и живы тем, что их живые ждут.
А чем живые живы? Сменой дней
ночами; ежедневною заботой
с рассветом встать, увлечь себя работой
и дотемна промаяться над ней.
Чем живы? Неизменной чередой
коротких дней и долгих вечеров,
хождений за хлебом, за водою,
за керосином; добываньем дров;
бессонницей и ожиданием дня
и поутру — вздуванием огня.
Но жизнь идет, и делается дело
на фронте и в тылу — сомнений нет;
и скорым избавлением от бед
цыганки обнадеживают смело.
Им верят. Верят слухам. Верят бредням.
Вчера узнали: во дворе соседнем
пропавший без вести вдруг подал весть —
и значит, чудеса на свете есть,
мог ошибиться писарь, строки лживы...
И вновь надеждам вырасти дают
и живы тем, что мертвых ждут и ждут,
все ждут и ждут, покуда сами живы.

6

Как пеплом утаенный уголек,
за печкою укромный уголок

вновь высвечен той старою тетрадкой.
Здесь годы шли, здесь мальчик подрастал,
загадывал, кем станет. Загадал —
не разгадал. И жизнь была загадкой,
одетой в сумрак, спрятанной в тени—
Он в ней искал иное содержание,
чем видимое. Тени и огни
и пламени зубчатого дрожанье
манили разгадать их. Но ни в ком
вокруг он не встречал подобной тяги.
Но чем они тогда живут, бедняги?
И как ему среди них прожить — тайком?
Мне жаль его младенческую муку,
и я сквозь тьму протягиваю руку,
на ощупь к самому себе бреду
и руку на плечо себе кладу...
Противоречье выдумки и жизни —
в попытке примирить их ты нелеп,
не стоит обвинять в догоровизне
мечту, когда всего дороже хлеб.
Неласков этот мир. Ему война
отбила и чувствительность, и жалость.
Что сетовать — такие времена,
такое человечество досталось.
Оно — тебе, а ты — ему. Ты сам,
склоняясь над каракулями строчек,
склоняешься как будто к чудесам,
но выбираешь те, что пожесточе.
В своей эпохе и в своей стране
все, что в них низко, все, что в них высоко, —
и ты несешь. И вынесешь ко мне.
Они еще аукнутся вдвойне,

твои обиды, скрытность и жестокость...
Прости, ребенок. Время тороплю,
спешу с подсказкой, годы подгоняю,
но мысли не ускоришь — понимаю.
Да я и сам подсказок не терплю.
Я подожду тебя, а ты — меня.
До скорой встречи. Здесь же, у огня.

7

И вот я здесь. И снова говорю:
прощай, моя любезная голландка,
еще раз от души благодарю
за все, что помню, будь оно неладно.

Я от воспоминаний устаю,
но пусть приходят, не желаю зла им.
Как знаешь ты простую жизнь мою,
лишь ты да я ее так знаем.

Твоих я нажевался сухарей
и твоего угара наглotalся,
твоим теплом за тридцать январей
сам, как ржаной сухарик, пропитался.

Меня ты согревала, как могла,
и по ночам поила дымным чаем.
Но слишком много твоего тепла
растратил я по случаям случайным.

А то — в пространство, всем и никому,
и вот теперь — остылость и усталость,

и мало что осталось самому,
и самым близким мало что досталось.

Когда мы тратим молодости жар —
не разбираем, кто его достоин:
душа и бескорыстна, и свежа,
мир на взаимной щедрости построен.

Но срок придет, когда мы разглядим
глазами повидавшими, иными:
взаимности-то не было в помине —
брал у одних, а отдавал другим.

Кому давал — бог с ними, я простил.
Кому не отдал... я вернуть не в силах.
Не потому, что нынче сам остыл,
а потому что не согреть в могилах.

Травкою поросло, и нанесло
холмами перержавленные листья...
Хоть и не ведал, в чем тут быть корысти,
но предал бескорыстное тепло.

Об этом сосны надо мной шумят,
и терпеливо вдалбливает дятел,
и травы, прорастая из оград,
«Предатель», — шепчут мне они. —
«Предатель...»

8

В последний раз сожгу черновики.
Прощай, поэма. Уступаю прозе,

с которой сквозь дворы пройдет бульдозер,
круша бараки и дровяники.

Хвала тебе, бульдозерист всесильный!

Твой труд значенье символа обрел:
как славный мельник, пудрен тонкой пылью,
ты за день целый мир перемолол.

Чей был приют здесь? Неизвестно чей...

Древней неолитической стоянки
глядится горсть каленых кирпичей —
легчайший прах моей былой голландки.

А с будущим у нас туманна связь...

Пронзая этажами воздух синий,
здесь вспыхнут сталь, стекло и алюминий,
в тысячелетье третье устремясь.

Возможно, очертаний простота,
фасадов плоских линия скупая —
времен грядущих важная черта,
их будущая вера — не слепая:

не только зданья — к ясным и простым
пропорциям все сущее сводимо,
все, что скрываем, прячем и таим,
освободить от тайн необходимо.

Грядущего рассветный холодок
знобит меня, он силу набирает,
целебен тем, что холоден и строг,
ну, а тепло, известно, расслабляет.

Но что с того, что мне не повезло?
В согласии с законом энтропии

струится наше кровное тепло
в угрюмые пространства мировые.

Ты, некто, в ледяные облака
укутанный средь ледяной планеты, —
терпи! К тебе летит через века
земной осины атом разогретый.

Он под моею крышей родился,
взлелеяла его моя голландка,
и прежде чем взлететь под небеса,
он мне блеснул, как искорка таланта.

Благословляю самый скромный дар,
пока в нем есть тепла хотя бы атом,
пока и юный пыл, и зрелый жар,
не остывая, в нем струятся рядом.

Мне неизвестная, грядущих лет
иная жизнь, в свой мир прохладный, строгий
прими великодушно эти строки —
от нас с голландкой пламенный привет.

ВЫСОКИЕ ПОЛЯНЫ

Кто он — не интересуюсь —
мой читатель. Не рисуюсь!
И хотел бы — все равно:
он прочел и прослезился,
он прочел и рассердился? —
мне проведать не дано.

Пусть и он, в строку вникая,
с ней знакомясь: кто такая? —
знать не знает, кем она
и от счастья или в муке,
в миг удачи, в час разлуки
вдруг была сотворена.

Я, строку рождая эту,
как положено поэту,
был прекрасен — и витал!
И надеюсь, столь же чуден
был читатель, взмыв из буден
в миг, когда ее читал.

О поэзия, спасибо,
что горишь неугасимо,
и в ночи, к кострам твоим,
мы, неведомы друг другу,
как две птицы через вьюгу,
с двух сторон к тебе летим!

*Д*а, был бретер и скандалист,
и дуэлянт, и спорщик,
при этом — энциклопедист,
нередко — заговорщик.

В сраженьях падал, в ссылках дрог,
главенствовал в салонах,
был просветитель и пророк
забитых, сырых, сонных.

Но это — много лет назад...
А нынче-бога ради!
Он сам прошел через детсад,
и дочь его в детсаде.

Его замучила строка,
и вот застыл на фразе
под клокотанье молока
на васильковом газе.

Дитя. Долги. Врачи. Харчи.
Кастрюли и бумаги...
Он от тебя неотличим
в житейской передряге.

Свой парень он — как своего
прочти его, читатель.
Он неземное существо,
спаси его, издатель.

НЕОТФИЛЬТРОВАННЫЙ ЭКСПРОМТ

*А.Г., работнику
Свердловской
фильтровальной станции*

*М*ой друг редактирует воду,
сырую речную струю,
чтоб чистой по водопроводу
пришла в городскую семью.

Дышала тайгой и простором,
несла керосин и фосфат —
теперь благодетельным хлором
шибает ее аромат.

Из крана, прозрачная, брызнет
в бескрайней своей чистоте —
бактерии смерти и жизни
и те в ней убиты, и те.

Загадили граждане речку,
мой друг исправляет грехи.
Он счастлив при этом? Конечно!
К несчастью, он пишет стихи.

А их, столь же ловко и хитро,
как смутные воды насос,
гоняют сквозь тонкие фильтры
и хлоркою глушат всерьез.

И вот, через нужные сроки,
приходят стихи к немоте —

живые и мертвые строки
и те в них убиты, и те.

Грязнее река год от году,
поэзия — чище стекла...
Мой друг редактирует воду,
за то ему честь и хвала.

С дул с невесты легкие пушинки,
подарил ей ленту — алый цвет,
я женюсь на пишущей машинке,
в чувствах у меня сомнений нет.

Прикоснулся нежно к букве малой,
грубости и сам я не терплю,
и сложили буквы — цвет их алый! —
ей мое признание: «Люблю!»

Голос твой люблю, твой треск веселый
стрекотанья, щелканья твои,
буквы скачут, как сороки с елок,
и разносят все, что я таил.

Говорю подруге и невесте:
нам для грусти нет причин,
мы с тобой вчера болтали вместе,
завтра вместе помолчим.

А сегодня — свадьба! Все танцуют,
а и бэ играют на трубе,
точка на параграфе гарцует,
и процент пошел в кадрили с тире.

Рычажки трещат, звенят пружинки,
но соседей шум не удивит:
я женюсь на пишущей машинке,
до утра гуляет алфавит!

Я с трудом постигаю пустяки,
продираюсь к простейшим законам:
оказалось, посвящать стихи
надо не кому-то, а знакомым.

И конечно, девушкам с нежными ликами,
берущими нас в томительный плен.
Вот у Пушкина — вся поголовно лирика
раздарена по Н.Н.

Ориентируйтесь на имена
друзей и подружек близких.
А гении в свои времена
рифмовали
даже долговые расписки!

Нынче не сердцем пишут, а лбом
Как же, прогресс...
Ни минуты покоя...
Человечество, давайте ваш альбом.
Я вам напишу чего-нибудь такое.

*И*грал он «кушать подано»,
талантом не блистал,
о Гамлете и подавно
ночами не мечтал.

Но он с таким азартом
в сюжете Бомарше
таскал на сцену завтраки
из папье-маше —

глиняные яблоки,
картонное жаркое,
хлебцы деревянные
и всякое такое —

и так благоговейно млел
за ближней из кулис,
когда почти взаправду ел
заслуженный артист!

*П*егаса загоняют в стойло.
И в гриву поддают, и в хвост.
Пегаса мордой тычут в пойло,
Пегасу подают овес
и ободряют: «Не пугайся!
Здесь ветконтроль и рацион!»
Но слез полны глаза Пегаса,
и прядает ушами он.
Ему забота не мила,
и прочь стремятся от корыта
четыре маленьких копыта,
два тонких розовых крыла.

*Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?*

А.Блок

*Д*а, проклинать и то, и это,
тех, чье всеильно торжество, —
и нынче заповедь поэта
и вечный двигатель его:
проклятие всему, что лживо,
всему, что по сю пору живо,
хотя еще с тех пор мертво!

Но с человека взятки гладки:
глядишь, и он затосковал
от дистрофической нехватки
поглаживаний и похвал.
Его возвысить в чем-то надо
и до небес превознести...
И ангел умоляет: «Радуй!»
А бес нашептывает: «Льсти...»

Но может, высший долг в поэте —
уродство с красотой связать
и не двуличьем души эти,
а двуединством пронизать.
Пусть человек в смятенье вздрогнет,
пускай судьбу приемлет он,
сказав себе: «Да буду проклят!»,
сказав: «Да буду вознесен!»

Над полуночную бездной,
над загадками планет
мается мой друг болезный,
аналитик и поэт.
Он несет двойное бремя,
он несется напролом,
и непойманное время
бьет его своим крылом.
День расколот. Мир разрублен.
Диалектика мертва.
В голове горящим углем
рассыпаются слова.
Не вините человека,
невиновен человек,
если он отстал от века
и попал в двадцатый век.
Ни к богам и ни к богеме
не шарахался пацан.
Просто — дурень. Просто — гений.
Просто — пламень по глазам.
Он глядит в свое окошко:
в этот поздний час оно,
словно ягодой лукошко,
спелую звездой полно.
Вот он тянется к Полярной,
вот хватает, не дыша...
На высокие поляны

забрела его душа.
Либо там он остается
пробиваться в звездный век,
либо он сюда вернется,
будет просто человек.

В шестьдесят так примерно втором
собирались за круглым столом
и горячий вели разговор,
были гении, как на подбор.

А откуда-то из старины
с укоризной глядел со стены
обрамленный в дешевый багет
никому не известный поэт.

В шестьдесят так примерно втором
собирались за круглым столом,
обходить не умели углы,
были споры у нас не круглы.

Обижали друг друга до слез,
а дружили при этом — всерьез.
И с надеждой глядел нам вослед
никому не известный поэт.

У причала стоял ты,
весь невидный такой,
пароходик до Ялты,
на борту: «Луговской».
Пассажиры шумели,
дизель гулко стучал,
и матросик похмельный
разворачивал чал.
Память прыгнула в юность,
и в недолгий прыжок
я припомнил, волнуясь,
институтский кружок.
Стихоплеты родные,
соловьи и чижи!
Все, что было под рифму,
было больше, чем жизнь.
Со стихом засыпали,
просыпались под стих
и читали, читали,
и свое, и других.
Время веяло новью,
мы теряли покой,
иашей общей любовью
был поэт Луговской.
Мы «Курсантской венгерки»
пили горечь и грусть,
и мы «Песню о ветре»
знали все наизусть.

И звучало нетленно
под биенье сердец:
«У статуи Родена мы пили спирт-сырец,
художник, два чекиста и я,
полумертвец...»

И взлетало, как эхо,
в комнатухе ночной:
«Ехать, ехать, ехать синею весной...»
А когда в самом деле
наполняли стакан,
с ним мы вместе сидели,
был он наш капитан.

Пассажиры шумели,
не терпелось им в путь,
а матросик похмельный
был задумчив чуть-чуть.
Я спросил у матроса:
— Кто такой Луговской?
И сказал он серьезно:
— Наш товарищ морской.

Ты, морской наш товарищ,
под курортный галдеж
от причала отвалишь
и на Ялту уйдешь.
Наш морской, сухопутный,
наш воздушный, земной,
в нашей юности трудной
был ты синей весной,
нашей песней о ветре...
И гляжу я вослед
на такое бессмертье,
мой любимый поэт.

НОВЫЙ ПУШКИН

Д а, добротные пишутся стихотворенья,
неплохие поэты сегодня живут,
но читатели — мечтатели! — тем не менее
сколько лет уж, как нового Пушкина ждут.

Как он нужен читающим миллионам!
Но предчувствие есть — нет предчувствия
горше:
новый Пушкин ребенком погиб
в разбомбленном
эшелоне, что шел из Орла или Орши.

Новый Пушкин расстрелян в подполье,
в полесье.
Он свинцом захлебнулся в днепровской волне.
Предназначенный для Отечественной поэзии,
он погиб на Отечественной войне.

*Д*убулты — Булдури, Дзинтари — Майори,
сосны над дюнами в солнечном мареве.

Сосны над дюнами в солнечном мареве,
вспомнил рисунки в комнате Марьева.

На акварелях — сосны балтийские,
море усыпано серыми искрами.

Здесь он с этюдником хаживал, сиживал,
сердце надеялось: «Выживу... Выживу...»

Тучи закатные — краски неистовы.
Сердце надеялось: «Выстою... Выстою...»

Жил над балтийскими, лег под уральские...
Серое море, краски неласковы.

Сосны над дюнами — в солнечном мареве.
Дубулты — Булдури, Дзинтари — Майори.

*М*ретий день живу над морем
на высоком берегу...
Поделюсь с тобою горем:
здесь работать — не могу.

Помещен я в горней точке,
где кружится голова,
но не пишутся ни строчки,
ни отдельные слова.

Я стою у края бездны,
и внушает мне простор,
что пусты и бесполезны
все мои усилья, вздор —

все, что я себе задумал,
драгоценное до слез;
из-за моря ветер дунул,
все охапкою унес.

Между тем, следя с вершины
за вскипающей волной,
слышу стрекот пишмашины
у соседа за стеной.

Что, зачем сосед мой пишет,
никогда я не пойму,

если рядом вечность дышит,
безучастная к нему?

В шуме ветра, волн и пены,
бьющем в уши без конца,
мы пойдем ли постепенно
мудрый замысел Творца?

В легендарном мраке ночи
и в спокойном свете дня
море движется, рокошет,
объясняет мне меня.

Не охватишь бесконечность
и сойдешь с ума, когда,
заведенная на вечность,
говорит в морях вода.

Нам ли, нашим скудным думам
рядом с ней вести рассказ?
Вековечным этим шумом
все уж сказано без нас.

Такому счастью имя — перелет.
Б.Пастернак

*Ш*умело море слева, справа,
а из-под ног взлетал прибой,
как чья-то крепнувшая слава
над встрепенувшейся толпой.

Среди кипящих треволнений,
во взбудораженных волнах
невидимый рождался гений,
сверкая в пенных пеленах.

Прошитый золотою сканью,
под солнцем вспыхивал залив.
И вот уже рукоплесканья
пошли, успех определив.

Залив вскипал, как на премьере
охваченный горячкой зал,
когда восторг ломает двери,
переходя в фурор, в скандал.

Теснились волны бестолково,
в сиянии солнечном слепы,
но сплачиваясь, как подкова
влюбленной в гения толпы.

Их столкновеньям, переброскам
до горизонта нет числа —

как если б публика с подмостков
любимца на руках несла.

И, сиюсь к выходу прорваться,
его прибой передавал
под нарастающих оваций
всесокрушающий обвал.

Какие сладкие мгновенья!
Он при смерти припомнит их:
толпы кипящей поклоненье
и вспышки нитей золотых.

ОДНОГОДКИ

Я думаю теперь все чаще, чаще,
что за двоих он пел и бесновался
и оттого выкрикивал рычаще,
что за меня, молчащего, старался.

Зачем тянуть на хриплом вое слово,
зачем терзать гитары кроткой тело,
когда бы все мы, кто с тридцать
восьмого,
произнесли, что с детства накопело?

Оно в нас клокотало и дрожало,
но горло было страхом перебито...
Что поколенью крикнуть надлежало,
всего одним пропето и провыто.

*В*еселый, шумный,
всегда в восторге,
слегка безумный,
как кот с касторки!
Он все летает
в командировки,
людей хватает
он за спецовки.
При виде шахты,
при виде бухты
то крикнет: «Ах, ты!»,
то бухнет: «Ух, ты!»
Он про заводы
и про плотины
заводит оды,
поет былины.
...А в Магадане,
на Волго-Доне
стоят рядами,
в буграх ладони.
И в котлованы,
воздев лопаты,
в кругу охраны
идут, горбаты.
Их вид раздетый,
их труд бетонный —
он не воспетый,

не отраженный.
Не отраженный
и не воспетый
плутом прожженным,
ба-лышим поэтом.
...Сегодня стар он
и хрипло дышит,
и мемуары
для нас он пишет.
И так выходит
в его записках,
что сам он вроде
к беде был близко,
что правду знал он
и был в печали,
и так страдал он...
Но все молчали.
Хоть на полтона
пониже, старый!
Андрей Платонов
мёл тротуары.

Что ж поэзия — мутная жижица?
Что ж поэзия — мелкая лужица?
Нет! Она с океанами движется.
Нет! Она с ураганами кружится.

Громче грома — когда возмущается,
и тогда не расслышать попробуйте!
Но она же легко умещается
у влюбленных в предутреннем шепоте.

По всемирному кругу вращается,
надо всеми, в заботе отеческой,
но она, если надо, сгущается
до единой слезы человеческой.

В ней, ликующей ли, тоскующей,
все Шекспиры и все Гомеры —
в этой капельке влаги, взыскующей
я любви, и надежды, и веры.

КОНЕЦ ВЕКА

БЮРО ОБМЕНА

ПОЭМА

1

*Д*вор.
Толпа.
Посреди толпы
яблонями в вечном цветении
столбы —
в лепестках объявлений.

Объект сатир
и фельетонов —
обмен квартир,
нужда миллионов.
Ловкач тасует города...
Восток и Север жаждут Юга...
От алкоголика супруга
жена готова хоть куда...

«Чтобы я в высотный лез?
Нет уж, милый, лезьте сами».

«А у нас под боком — лес,
можно бегать за грибами».

«Тетке — восемьдесят пятый,
надо съехаться скорей...»

«Ты-то эвон где, а я-то —
просто некуда центрей!»
«Мне — чтоб рядом водоем
и чтоб дом добротный, старый...»

«Мне — чтоб рядом гастроном,
и с приемом стеклотары!»

«Отвали, дедуля! На фиг твоя комната?
Да еще с печным? Комик ты!»

«Молодежь, молодежь...
Вся из кожаных одеж...
Мы были юными —
жили коммунами.
А теперь любой сопляк,
глянь — в квартире ни за так!»

«Без отца его растила... Бабы знают, что за
труд...
Прибежал с военкомата: «Мать! В десантники
берут!»
Наша комната просторная, на два окна.
И в одно глядеть-то некуда, когда одна...»

2

Век девятнадцатый!
Махнемся поэтами!
Мы разучились писать о любви.
Эй, марсиане!
Махнемся планетами!

Наша — в крови.

Наша загажена ложью и сплетнями,
в ней, в коммунальной квартире скандальной,
может, прописаны будем последними...

Нам бы затеять ремонт капитальный:
прокупоросить, продраить, промыть,
кистью и шваброй — по спальням и кухням!
Балки прогнившие переменить —
рухнем ведь, рухнем!

Разум единственный в мертвой Вселенной,
случаем в эту квартиру вселённый,
что ж ты позоришься, шабутной?
Были Шекспиры, пели Шопены...
Что ты орешь, будто вышел из пены
не океанской — пивной?

На собраниях общих ругань стоязыкая летает,
и на кухне нашей общей — непрерывный
мордобой
а в прихожей общий счетчик радиацию
мотает
и постукивает четко, как по крышке гробовой,
А ночами в коридорах бродит общее дитя,
он из наших страхов соткан,
он — в семье не без уроды,
помесь танка и комода,
Квазимодо!
У него торчит в затылке недовернутый шуруп,
его пузо бомбовое и контрольной кнопкой пуп.
Чешет пузо и щекочет,
пуп себе нажать он хочет!

День и ночь не спят соседи,
пистолет — на каждый шорох,
лазер выжег по Вселенной
на столбах и на заборах:
«МЕНЯЕМ ПЛАНЕТУ СО ВСЕМИ
УДОБСТВАМИ
НА ДВЕ В РАЗНЫХ ГАЛАКТИКАХ.
ОКРАИНЫ И БЕЗ АТМОСФЕРЫ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».

В Азии и Европе,
в Африке и Антарктиде
радиотелескопов затрепетали чаши:
андромедыне, где вы?
Что же вы, альфацентаврики?
Львы, Скорпионы, Девы,
ждем предложенья ваши!

Как одиноко тебе сияется,
о человечество, в вечную тьму!
НЕТУ ЖЕЛАЮЩИХ.
НИКТО НЕ МЕНЯЕТСЯ.
ЗНАЧИТ, МЕНЯТЬСЯ ПОРА
САМОМУ.

Преобразимся!
Звери завyli в норах бетонных
(вой — в мегатоннах).
И, озверевшие, взвыли во мраке
знаки тревоги, радары вращая,
так на покойника воют собаки,
волки Луну обвивают прощально.

Преобразимся!
Выжжем и вырежем
все, что звериное в нас, что от зверя!
Шкуру сдерем, но из зверя вылезем!
Я то изверился в этом, то верю...

3

Каждому

свое отечество дороже —
так от века повелось,
это чувство, как озноб по коже,
нижет нас насквозь.
С ним рождается и умирает
в каждом его теплая душа.
А моя на каменном Урале
прижилась, отсюда не ушла.
Города старинного замеса,
северной окраски небеса,
индустрии дымная завеса,
сумрачные под вечер леса.
Толп людских пугающая огромность,
не обожествляю их, людей,
все при них: и суета, и скромность,
и при этом кто ж еще родней?

Вот и сегодня в обменном бюро,
где горожане толпятся с плакатами,
с их предложеньями небогатыми —
не от добра они ищут добро;
где новоселы сияют, как пряники;
где старикан развеселый и пьяненький

всем объясняет, что снова влюблен:
с новой старухой съезжается он;
где озадачены люди расчетами,
где озабочены лица заботами,
где ничего не нашлось для меня,
снова пронзило: это — родня.

Не выбирают родных, а живут
с ними,
и это в масштабе семейном
принято всеми,
в масштабе страны
многими читится...
В масштабе Земли
просится,
в души к миллионам стучится!

Дом неразменный, наша Земля,
нам предназначенная обитель,
жить бы и жить, в тесноте — не в обиде...
Что ж у прицелов твои сыновья?

*Д*о двадцати
полны мы праведного гнева,
до двадцати
мы вместе с сердцем бьемся слева.
До двадцати
мы с полуправдою враждуем,
на молоке обжегшись,
на воду не дуем.
До двадцати
благополучье презираем,
до двадцати
общага кажется нам раем.
Три медяка у нас в горсти,
у нас подонки не в чести,
хотим лететь, а не ползти,
и не бросать друзей в пути
клянемся мы —
до двадцати,
до двадцати...

*Д*аже у испанской инквизиции
были свои твердые позиции.

Вспомним и Малюту мы Скуратова,
в исполнение долга — аккуратного.

Да и в нашем веке, у ежовщины,
принцип был, хотя и поножовщины.

А в тебе, коллега, нет той четкости,
мечешься от наглости до кроткости.

Там и там стремишься ты в отличники,
но тебе не верят и опричники...

ДЕД МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ

Ироническое развитие темы

1

Зайцы мы, зайцы...
И в рощах и в травах
нас гонят мерзавцы,
собаками травят.

Зайцы, дерзайте!
Мужайтесь!
Не можем мужаться,
в комочек бы сжаться,
в кустах отлежаться...
Зайцы, спасайтесь!

2

Полдень огня и агоний...
Скрыться в чащобы,
погоне
неведомые еще бы!

Не разбирая дороги!
В наших прыжках балетных
задние наши ноги
летят впереди передних.

Лупим по перелескам,
уши в спину врезаются.

Это полезно — бегать.
Это прелестно!
Мы зайцы...

Зрелище замечательное:
чесет по сосняку,
шпарит парная зайчатина,
в собственном парясь соку!

Гони нас, охотник, стерва,
догонишь, на третьей газуя,
гони, за то что мы серые,
гоня, за то что косые!

Жми, упоенный игрою,
дуartetом косого крой,
немного чужой крови —
свою успокоить кровь.

Немного чужого страха —
унять свой собственный страх,
немного чужого праха —
когда-нибудь сам будешь прах.

Но ты надо мной не охай,
радуйся в тишине:
«Хорошо, что кому-то плохо,
хуже еще, чем мне!»

3

Сколько бы мы ни мчали,
нас догоняет беда.

Мартовскими ночами
идет большая вода.
Трещат под напором мощным
защитные камыши.
Мечется серый комочек
на островке души.

По голень.
Мы зайцы.
По горло.
И — в звезды:
«Мы зайцы!
Мы зай...»

Вот уж которые вёсны
запаздывает Мазай.

Собирался верховный совет облаков
под торжественный купол небес,
и указ был предложен и принят таков:
теплой влагой пролиться на лес.
И еще был предложен и принят указ:
чтоб громады насупленных туч
расступились, к земле пропустили хоть
раз
не бывавший там солнечный луч.

Был указ кучевым: кочевать им в места,
где от жажды чернеют кусты,
а для перистых был: еще ярче блистать
с отведенной для них высоты.

А последний указ обсуждался всю ночь,
лишь к утру получил большинство,
те, кто против, умчались заранее прочь,
чтоб не слышать звучанья его:

кто над Припятью плыл в эти майские
дни,
там, где Припять роднится с Днепром, —
чтобы дали нам вечную клятву они
никогда не пролиться дождем.
Смерть земли, пронизавшую их, пронести,
не роняя ни капли, в себе,

так великое множество лет провести
и такой покориться судьбе.

Хор клянущих себя в отдаленье звучал:
«Так великое множество лет...»
И в светлеющем куполе молча стоял,
им внимая, верховный совет.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Алые на белом прыгают зрачки,
остального тела не видать почти:
на снегу ворона — как снег бела.
Как же ты, ворона, выжить смогла?
Выродок, не птица — позор семьи,
серые сестрицы как не замели?
Фантомас, уродка: к черту на рога!
Цветомаскировка — белые снега.
Перезимовала от родных вдали,
белые завалы белую спасли.
Все тайком от стаи, одна, одна...
Но снега растают — видна, видна!
На лиловом, черном, ржавом и ржаном
белым, обреченным горит пятном.
Бурый, серый, рыжий, охристый
простор...
Белизна бесстыжа — гневит сестер.
По-над грязью лога, в чудной тьме полей
белизна убога — наших ли кровей?
Догоняли беглую на семи ветрах,
доконали белую всей семьей впотьмах.
Где пушок над вербами, на восьмом
ветру
перышко серебряное выплыло к утру.
Бедная ворона... Не жалей ее.
Чистота породы волнует воронье.

КРАСИВЫЕ СТИХИ ИЛИ КОНЕЦ ВЕКА

*Ш*ел красивый человек,
ел красивый чебурек.

Шел и шел, красиво чавкал,
чебурек изящно нес,
вслед за ним красиво гавкал
и бежал красивый пес.

Морда пса собой являла
безупречные черты,
и по ней слюна сбегала
небывалой красоты.

Человек остановился
на красивой мостовой
и красиво поделился
с этим псом своей едой.

А вокруг в красивом свете
представал красивый день,
и красиво лезли дети
на красивую сирень.

Под красивыми кустами
спал хорошенький старик,
буксовал в красивой яме
элегантный грузовик.

День пылал красивым жаром,
и толпа красавцев шла
по красивым тротуарам
на красивые дела.

Стройный, легкий и крылатый,
зная, что ему к лицу,
шел красивый век двадцатый,
он красиво шел к концу.

РАСПРОДАЖА

Финиш сезона: снижение цен на ковры!
Бегите! Спешите! Хватайте же! Будьте добры!

И четверо граждан идут через сквер,
через двор,
имея под мышками сниженный этот ковер,

Еще накануне стоял неприступной стеной, пугал покупателей четырехзначной ценой.

Он полмагазина завесил цветастым крылом!
Но нынче он снижен, унижен и свернут
в рулон.

И четверо топают в ногу, под мышками с ним,
как будто с тараном к воротам идут
крепостным.

Ах, если бы знали, как сладостно им повезет!
На тысячу просто ковров есть один — самолет.

Ковер-самолет, а не просто ковер шерстяной.
И именно он им достался дешевой ценой!

Когда б догадались его расстелить во дворе,
они бы взлетели на сниженном этом ковре!

А все остальные, на улицах и по дворам,
свели б, как он их уносит к далеким горам.

Да, он бы унес их к вершинам заснеженных
гор,
глазам бы открылся огромный и свежий
простор.

Они б увидели такую большую страну,
которую три океана качают одну.

А три океанских прибоя увидевши враз,
понять, что такое отчизна, возможно без фраз.

Какими страстями ответим пространствам
таким?
Бурлим у прилавков и на распродажах
кипим...

Высокие, низкие цены... Во все времена
одна неизменная есть и пребудет цена.
И выше не может быть той неизменной цены,
в какую обходится счастье огромной страны.
...А четверо топают дружно, вперед и вперед,
и туго спелеют волшебный ковер-самолет.
Он призван украсить собой их квартирный
уют.
И сами лететь не хотят и другим не дают.

*Д*вадцатый век. Цыганка с микрофоном.
Как с розою Кармен в былые времена.
С подмигиваньем и певучим стоном
трясет плечами узкими она.

И гитарист, охваченный порывом,
осанка горделива и строга,
и нос крючком, и перстень с переливом,
и в правом ухе звякает серьга!

Рожденный в таборе, напев ликует
старый,
распахивает душу всем гостям,
взывая электрической гитарой
к давно уже объезженным страстям.

Но гаснут лампы точно в час урочный,
и отлетает праздника душа.
Уйдет цыганка поступью непрочной,
уйдет, густыми юбками шурша.

Устало скинет звонкое монисто.
Окликнет через стенку гитариста.
Ей принесут шашлык и коньяка,
а гитаристу — кружку молока.

И, слушая, как вздрагивает судно,
он скажет, попивая молоко,
что под цыган теперь работать так
нетрудно,
а раньше это было нелегко.

Коронили оптимиста милого,
балагура, тамаду всегдашнего,
он, вчерашний, с карточки подмигивал,
нынешний — дивился на вчерашнего.

Провалились щечки те румяные —
как под крышей рухнули стропила, —
и под ними, сквозь прожилки пьяные,
тайное страданье проступило.

Смущены мы были сходством малым:
он ли это столько лет смеялся?
Вот когда предстал оригиналом,
кем и был всегда, а не казался.

О крестность пропала в тумане.
Разбужено воображение.
Там кто-то грозит или манит?
Шаманит ли там ворожея?

Там что за неясная вспышка?
Туман расстоянья секретит:
маяк ли верст за десять с лишком?
Иль рядом — глазок сигареты?

Качнулось там дерево, или
чего-то живого подобье,
сердитое, что разбудили,
сощурясь, глядит исподлобья?

Всесилен туман в произволе
смещения фактур и предметов,
и это лишь малая доля
густеющих к ночи секретов.

Просторны тумана одежды,
поместятся в этой рубахе
и смутные наши надежды,
и более ясные страхи.

Там клены укрыты и липы,
лощины, кусты, перелески,

и вроде доносятся всхлипы,
шаги, и ворчанья, и всплески.

Плетется там, что ли, интрига,
там, что ли, гнездится подполье,
там пишется тайная книга,
и дышит там тайная воля.

Там что-то неладно, постыдно,
сращенья и перемещенья,
неспешно, упорно и скрытно
дурные идут превращенья.

Проникнуть под зыбкие своды —
и краешком глаза уловишь:
невинные формы природы
там преображают в чудовищ.

Пробиться сквозь вязкие стены,
в средину вбежать без боязни —
какие увидим там сцены:
пиры? Вакханалии? Казни?

В полотнище перед открытием
упрятан торжественный камень,
толпа нетерпением изрыта:
ну, что ее взорам предстанет?

Ах, нету разгадки секретам!
Но утром, лишь из дому выйдем...
Полотнище стянуто ветром!
И что уж увидим — увидим.

ЧИТАТЕЛИ СТИХОВ

Читатели стихов — особая порода,
в истории она не ценится ни в грош.
Читатели стихов — чувствилище народа,
народу в поддых двинь — вот в них
и попадешь.

Читатели стихов как пятка Ахиллеса —
то место, где народ имеет слабину,
когда, ввиду забот о торжестве прогресса,
в один большой кулак потребно сжать страну.

Всю жизнь любить стихи — как дать обет
безбрачья
и не вступать в союз с карьерой, суетой.
Читатели стихов, их преданность — собачья
любимым именам, строке и той, и той.

Всю жизнь верны тому, что завещал им гений,
еще при жизни в них душа вознесена,
читатели стихов — опора ополчений,
их первыми убьют, когда придет война.

Читатели стихов, порой, дурного вкуса,
и даже те из них, что чтут один лубок,
в наивности своей идут от Иисуса,
так помоги же им на них похожий Бог.

С квартиры хозяева съехали,
а я не заехал — не вышло.
Имея права, не заехал:
работа, поездки, то-се.
Квартира стояла пустая,
лишь, чтоб застолбить за собою,
тахту я забросил, два стула
и чей-то подарок — торшер.

Я не был в квартире два месяца,
два знойных немилосердно.
Вошел. Духота, как в парилке.
Как печка, пылал подоконник.
Жемчужные хрупкие мухи
рассыпаны были на нем,
а также имелся сгоревший
мотыль, и лиловый и черный,
как мощи, сухой махаон.
Повсюду, где крашено краской,
она пузырилась, кипела.
Едва я коснулся обоев,
раздался гороховый треск.
По мне ли вы сохли, обои?
По мне ли скучали, белила,
что так взволновались, вскипели
с внезапным приходом моим?
Кому вы, жемчужные мухи,

пропели предсмертную песню?
Мотыль, обгорая, кому ты
крылами стучал по стеклу?

Когда испытать не хотите
тоску средь июльского полдня
вы в комнате, залитой солнцем,
как кубок, наполненный всклень
янтарным вином из Абрау-
Дюрсо, — никогда не входите
в пустую квартиру один!

Дождитесь дождливой погоды,
ворвитесь с друзьями, с бутылкой
янтарной Абрау, и с ходу
окно распахните под брызги
и клекот ворчливый дождя.
И так просидите до ночи,
под дружеский треп, анекдоты
и треньканье старой гитары,
а в полночь целуйте друзей
и долго топчитесь в прихожей,
их нехотя всех провожая.

Но вот вы остались один.
Присев у распахнутых створок,
в шумящую тьму поглядите,
вздохните и даже всплакните,
но тут же утрите слезу.
И мумию махаона
вина золотистой каплей,
медовой, клейкою каплей

устройте на чистом листке —
чтоб эта сгоревшая хрупкость,
прозрачная эта лиловость,
отныне вам напоминала,
как страшно входить одному
в пустую-пустую квартиру,
где, жемчуг мушиный рассыпав,
два месяца царствовал зной.

ГОЛОСА

ПОЭМА

Из цикла «Поэмы старого дома»

Я льнул когда-то к беднякам
не из возвышенного взгляда,
а потому что только там
шла жизнь без помпы и парада.

Б.Л.Пастернак

Автор

1

*П*оэмы мучают творцов,
они порой даются кровью.
Не одобряю! Вред здоровью,
да и семье, в конце концов:
душою чист, талантом ярок,
но обескровленный поэт —
он и супруге не подарок,
и детям не авторитет...
Ты хочешь разбудить планету?
Но накорми семью сперва.
И лично я поэму эту
затеял лишь из озорства.
Без крови — даже без чернил! —
стуча по клавишам, как дятел,
каких-нибудь лет пять потратил
и монологи сочинил.
Со мною в дружеской беседе
их якобы произнесли
мои давнишние соседи
по дому, что давно снесли,

с кем общий кров делил тогда —
в шестидесятые года.
Ах, якобы? Кто дал права
бесцеремонному поэту?
Я ж говорю — из озорства
затеял я затею эту.
И, хоть озвучил самозванно
соседей, в методе своем
не вижу страшного обмана —
не мной изобретен прием.

2

Вот на трибуну, к микрофонам,
выходит знатный бригадир,
чтоб обратиться к миллионам.
Сейчас его услышит мир.
В его натруженной ладони,
что кажется ковша бездонней,
сплошь испечатанный листок:
там заверенья и призывы,
и скромной критики порывы,
и лесть, и пафос, и восторг.
И общий тон — отменно бравый,
и фразы не от «я», от «мы»,
но стиль нарочно чуть корявый —
трудились лучшие умы!
Мне жаловался друг-газетчик,
грядущего большой разведчик:
«Н.Н. — герой и делегат...
А он на самом деле — гад!
Такую подложил свинью...

Доклад, доставшийся задаром,
в журнале тиснул как статью,
не поделившись гонораром...»
О том, как речи держит «знать»,
мы больше говорить не будем.
Но что простым, незнатным людям —
моим соседям предпринять?
Как им поведать мысли свету,
итоги важные подвести,
когда образования нету,
а жажда высказаться есть?
Им каково сказать самим?
Помощник им необходим...

Баушка

Баушка Жмахова я,
неграмотная старушка.
Вместо «куда» говорю «куды»,
вместо «когда» говорю «колды»,
вместо «туда» говорю «туды».
Мое занятие — побирушка.
Копейка, конфетка, ржаная горбушка —
награда за мои труды.

Годов-то мне — ужась!
Не помню и сколь.
Дети повымерли
ишшо в первую мировую.
Спасибо, приютил внучонок Колька:
«Чо, — говорит, — бросать тебя,
мумию живую.

Шибко ты, баушка, мне дорога —
рожа твоя на мою похожа.
Будешь домашняя Баба Яга.
Токо что нервы мои не тревожа!»

Нервы! Поди-ка.
В бутылке оне,
все его нервы.
Кажную ночь приползет по стене,
лается хуже последней стервы.
Бражник, он разве живет по уму?
Зарабатыват изрядно,
дак все пропиват, что есть в дому,
а эдак-то жить накладно.

А вздумаешь перечить?
С ним токо начнись.
«Я железный дорожник!
Я машинист!
Я вас кормлю, я вас пою,
я на вас роблю!
Щас вот весь дом на щепу разобью!!!
А ты, Баба Яга, угроблю!»
Схватит топорик —
вжжик им да вжжик!

Утром проснется —
спокойный мужик.

«Колька!
Опеть фордыбачил надысь?
Все ить уж пропил —

свое и Машино.
Машу не жалко —
хоть дочек стыдись!»
Машет рукою:
«Неважно...»
Так-то.
А правнучек надо кормить,
грех их, малюточек, мучить.
Вот и хожу Христом-богом молить,
жалобить да канючить.

Даже и рада.
В дому — суета,
десять соседей, ни сна, ни покоя.
Тесно, как в бане.
А тут — красота.
Место сыскала куды как баское.
Возле Дома пионеров есть горушка,
слышь-ко?
Неприменно прозябаю тут.
Глянь, стоит неграмотная бедная старушка:
кто идет с дитями — как не подадут?

Личико мое — печеное яблочко.
Голосок мой травкою шелестит.
Ручки мои — святые мощи.
До того у меня простой внешний вид,
куды уж проще.

Вот стою я бочком ко чугунной ограде,
и всегда на мне чистый платочек надет.
«Христа ради, милые, Христа ради,
неграмотной баушке

девяноста двух лет!»
Баю проходим:
«Дети Христовы!
Гой вы, прохожие, божий странники!
Эй, пионеры, будьте готовы,
тоже когда-нибудь станете стареньки.
Уж пожалейте вы
баушку бедную,
бросьте монетку,
хотя бы и медную.
Лучше серебряну...»

На горушке, возле Дома пионеров,
тихо, солнечно, просторно по утрам.
Воробышки носятся по скверу,
да сияет куполами божий храм.

Ох...
Был храм,
а нынче — срам.
Где молились люди богу,
нынче бродит ротозей.
Называется: музей.

Где светилися лампадки,
там подвешены лопатки.
Где должен стоять алтарь,
под стеклом сушена тварь.

Где молились на коленях,
дом стоит из шкур оленьих,
и в нем чучела сидят
и в пустой котел глядят.

Где бы царским быть вратам —
разместился трактор там.
И картинки про колхозы:
урожай везут обозы.
Во всю стену — ох ты, горе! —
баба возле поросят.

А где висел святой Егорий,
там стахановцы висят.
И среди них — восподь помилуй,
вот уж чудо из чудес:
Колька, внучек мой, балбес!
Нешто их попутал бес?!

В прежни б годы такой греховодник —
да какое почтение ему?
Нынче в храме, как божий угодник,
что ж за бог-то у них, не пойму?

Раньше в храмы ходили, в хоромы,
осененные божьей рукой,
нынче толпами прут в гастрономы,
знать, религия стала такой.

Было людно в обители бога.
А какие певали хоры!
А в музее народу немного,
никого, окромя детворы.
Галстучки у них алые,
глазыньки у них шалые,
чирикают, воробушки —
забудешь о хворобушке!

Никого не пропущу,
кажного перекрещу:
«Бог спаси вас!»
Смеются:
«Бога, бабушка, нету».
Я смолчу: а и чем их проймешь?

А теперьча скажу по большому секрету:
есть!
Да токо не так уж хорош.

Я вздремнула на солнышке майском вчерась,
и приснилось:
будто б усопла на пасху...
Упорхнула душа, в небеса унеслась —
ко Христу, полагала, за пазуху.

Сразу встала у облачка, в скромном наряде,
и опеть на мне чистый платочек надет:
«Христа ради, милые, Христа ради,
новопреставленной девяноста двух лет!»

Серафимы кудрявые, зыбкие ангелы
в хоры строятся, нежно поют.
До чего эти ангелы жадные, наглые,
ничего оне баушке не подают.

Я взмолилась:
Восподь! Где ж твоя доброта?
Ясным словом коснися презренного слуха!»
И ответил восподь:
«Ой, за-ради Христа,
Христа ради, умолкни, старуха.

Во владеньях моих, среди нищия духом,
неземная царит благодать.
Ежли всем потакать побирушкам-старухам,
царство божье придется раздать.
Вот совет и приказ мой:
молися без роздыха.
Над твоею башкой нынче вечность летит!»

«Я, Создатель, молюсь!
Но от свежего воздуха
у меня завсегда прибывал аппетит.
До чего по своей я скучаю горушке...
Отпусти меня снова на Землю, Отец!
Медяков горожане насыплют старушке,
я в столовой под горкой отведаю щец...»
И на этих словах пробудилась.
Гляжу:
где стояла, стою. Притулилась к ограде.
А в ладошке... серебряный рубль держу!
Кто тут был? Никого. Кто подал, бога ради?
Или сызнова снится? Да нет, наяву.
Люди-грешники, всем повезет понемногу!
Люди добрые есть.
Я ишшо поживу.
Сколь получится.
Там уж — неси меня к богу.

Жмахов

Я Коля Жмахов, паровозный машинист.
Рожден на свет простой крестьянской мамой.
Я был в труде передовой специалист,
в быту я был запойный и упрямый.

Да... Был да сплыл! Хотя я себе не враг,
что врать: душа вот-вот покинет тело,
она уже почти что отлетела
в края иные, где клубится мрак.

Теперь на вас я издали гляжу:
как сквозь туман, мелькают ваши лица.
Хотел бы с вами мыслью поделиться...
Но я сперва о личном расскажу.

Я Машу вспомнить не могу без слез:
ловка была стирать белье, зараза!
Я по субботам пил, как паровоз,
котел перегружая до отказа.
На манометре красная черта,
а все же не боялся ни черта.

Что жизнь — за перегоним перегон,
столбы на насыпи — чекушечки да шкалики!
А Маша над корытом растит горб,
настирывает чьи-то там подштанники...
Мне совесть — не звонок и не сигнал,
все пил да пил и не остановился,
и Машу-труженицу — в гроб ее загнал,
и на другой я женщине женился.
А у другой — не бедра, а поршня
и буфера могучей паровозных!
Когда она, среди ночей морозных,
а то, случалось, и при свете дня,
дыханьем, как из топки, окатив,
раскочегарит оборотов триста...
И я своей башкою машиниста:
«Не баба, — думаю. — Локомотив...»

Ну, а сегодня — что мне те поршня...
Поддать — и то нет силы у меня,
ни баба мне, ни выпивон не лаком —
все, чем я душу радовать привык...
Пар вышел, и забило топку шлаком,
к тому ж и рельсы привели в тупик...

Зачем я жил? Не ведаю того.
И эта мысль безумно огорчает.
Таких, как я, в России большинство,
а большинство себя не замечает.
Я — знал Россию. Я ее провез
через бураны, выюги и морозы.
Я помню: бешено мотался паровоз
и разбегались с насыпи березы.
Я гнал и гнал, почуявши азарт:
какая мощь в распаренном металле!
Скрипел за мной плацкарт и неплацкарт,
и мягкие блаженно рокотали.
В них разносили чай проводники,
и сытый храп висел над кожаным диваном.

Но я таскал и те товарняки,
задвинутые брусом деревянным.
В них оплывала мутная свеча,
под грузом тел проламывались нары.
А ночь была темна и горяча,
и мы с помощником мытарились на пару.
Такая же Россия, как и мы!
А я их вез через леса и реки.
А я их выволакивал из тьмы
в другую тьму, и, видимо, навеки.

Стучат, стучат железные колеса,
работает система ЭМПээС,
и на груди моего паровоза
сияют буквы гордые: ИзС.

И думал я: «Вези, Иосиф Сталин,
в любую даль, за тридевять земель,
мы за тобой тащиться не устанем,
ты впереди и ясно видишь цель.
А мы углем в твоих сгораем топках,
а мы колеса верные твои,
мы шпалами легли в болотах топких,
мы рельсами по шпалам пролегли,
а путь неровен: спуск или подъем,
а все равно, вперед с надеждой глядя,
мы на подъемах стонем, но поем —
тебе хвалу, твоим врагам проклятье:
не погасить вам гордое ИзС,
не удержать стальную колымагу!!!»

Но тут случился вдруг технический прогресс
и перевел нас на электротягу.
Тот свет мне нынче видится в бреду,
в виденьях, по ночам ко мне бредущих...
Там Маша отдыхает в райских кущах,
а я тружусь. Естественно — в аду.
Поставлен я на должность кочегара.
Родные запахи угля и пара...
Вот только нет ни водки, ни вина,
и я усердно, но без интереса
шурую, как в былые времена,
у топок незабвенного ИзСа.

А где мой вождь? Его великий дух?
К нему и здесь, конечно, не пускают.
И где он точно? Он — одно из двух —
то в ад, то в рай, туда-сюда таскают.
Я размышлял о горестной судьбе
и путь вождя исчислял впервые,
считал грехи, считал дела святые
и сосчитал. И так скажу тебе:
все — поровну. И подвиги, и беды.
Да, поровну разлито быть должно
его ошибок горькое вино
и сладкое вино его Победы.
И если каждому достанется грамм сто
его грехов, его всемирной славы —
получится: не виноват никто,
а все мы в целом абсолютно правы.

Была Россия Сталину верна...
И думать не могли о нем без дрожи!
И вроде понял я, зачем жила страна...
А я зачем? Додумаюсь попозже,
я, Коля Жмахов, паровозный машинист,
рожден на свет простой крестьянской мамой,
до самой смерти верный сталинист
и после самой смерти — тот же самый.

Кузьмовна

Я Анна Кузьминишна,
проще — Кузьмовна.
Мне семьдесят ровно.
Живу не безмолвно,

и прозвище дадено мне:
«Поллитровна».

Не то что с поллитрой,
да хоть и с косушкой,
приди повидаться
с Кузьмовной, старушкой!

Тащи самогонку,
и пиво, и брагу,
какую имеешь под градусом влагу,
да хоть и бодягу.

Могу политуру,
могу разбавитель...
Уж взгрел бы вожжами
покойный родитель!

Эх, на суку сидит кукушка,
не пора ли куковать,
на столе торчит чекушка,
не пора ли открывать!

Родитель-крестьянин
не пил, не блудил,
исправно трудился
и в церкву ходил.

В кого я такая,
сама не пойму,
но, ясное дело,
как раз не в Кузьму.

Ой, от кого мой темперамент
и на щечке ямочка,
откровенно расскажи,
дорогая мамочка!

Кузьма Елизарыч
в пятнадцатом годе
разорван снарядам
в румынском походе.

Маманя
примерно о той же поре
простыла
и волею божьей помре.

Налей-ка —
папаню с маманей помянем.
Теперь уж и сами
недолго протянем.

Ой, вы покинули меня,
покойные родители,
и скучают, ждут меня
одни лишь вырезвители!

Ну, в общем, а вскоре наш
царь-государь
оставил престол... и покинул алтарь.
...А я говорю: и алтарь!
...Ну, ударь!
Ты думаешь,
водку принес и селедку,

так можешь обидеть
старушку-сиротку?
Молчи и не каркай!
В гражданскую я, брат,
была санитаркой.
А после —
свободной была пролетаркой.
Была поломойкой,
девахою бойкой,
и ванькою-встанькой —
бессонною нянькой,
ночною сиделкой
над чьей-то болячкой,
со льдом или грелкой,
была гардеробщицей,
сторожем, прачкой,
и прочим, и прочим,
все черным рабочим.

Была я и сытой,
была и голодной,
при этом всю жизнь
оставалась свободной.
Свободно сошлася
с одним мужиком,
меня он свободно
оставил с сынком.

В войну
я сestroю была госпитальной.
Имею медали.
Вон, в шкапчике, гляньте —
вы их не видали.

И там, в медицине,
вот именно там,
Кузьмовна впервой
пристрастилась к спиртам.

На войну сыночка взяли,
мамка стала тосковать,
а прислали похоронку,
мамка стала выпивать...

Алкоголик горю рад,
потребляла суррогат.
До чего опасный, гад!
Все же не ослепла.
Фотокарточка висит,
беломорина дымит,
это Гришеньке-сынку
свечечка из пепла.

Прошрое поманим,
Гришеньку помянем...
Пей, ребяточки, до дна,
будь ты проклята, война.

Вот кто-то с горочки спустился,
наверно, милый мой идет,
на нем защитна гимнастерка-а-а...
Она с ума меня сведет!

Настали мирные денечки.
Что делать бабе-одиночке?
К тому же — запойной,

слегка беспокойной,
маленько неврозной,
кругом несурьезной?

Ну, сызнова стала ходить по домам,
опять подметальщицей, нянькой,
стряпухой...

И стала старухой.

Кузьмовна, ребята,
старуха богата:
имеет шесть метров
жилья персональных,
и печку-голландку,
и свой умывальник.
И фикус в углу,
и герань на окошке.
Имеет стаканы.
И вилки. И ложки.
И два пуда картошки!
Имеет косынку,
и кофту, и юбку,
и даже — откуда? —
курильную трубку.
Имеет перину,
подушку и койку.
Имеет соседку,
Жмахова Кольку.
Имеет ботинки,
а летом — сандали.
А с Колькой имеет
скандал на скандале.

Имеет медали!
Вон, в шкафчике, гляньте —
вы их не видали!

А чем заработаны
юбка и кофта?
Гостей уважаю —
всего и делов-то.

Заработок пол-литровый,
заработок мой простой:
я бездомные любви
запускаю на постой!

Вот пришел солдатик рыжий,
до чего похож на Гришу:
Гриша челку так носил,
перед девками форсил.

Может, это он пришел
и невесту в дом привел?
Буду внуков я баюкать,
буду гукать и агукать,
будет все, как у людей!
Гитлер, Гитлер, ты злодей...

Разметалась невеста
под шинелкой жениха.
Сладок сон после греха.
Тише-тише-тишеньки,
сладок сон у Гришеньки.

У меня свои законы,
спи, невеста, спи, жених,
у меня висят иконы,
я забыла, кто на них.

Я бедовая старуха,
удалая голова,
я с любым соседом выпью,
только кликни кто,
до чего я уважаю
дом наш номер тридцать два,
нашу улицу родную
Карла Либкнехта!

Этот Карл длинноносый
на доске из чугуна,
с Люксембург там рядом, с Розой:
так вот — он, а так — она.

Мы их помним честь по чести,
кто тут с ними не знаком?
Как они погибли вместе —
так и улицы рядом.

Ах, Карлуша, ангел чистый,
жаль, что рано ты пропал,
ты бы Гитлера-фашиста
на кусочки разорвал.

А потом бы вместе с Розой
к нам приехал погостить,
и конечно — нет вопроса,
чтоб Кузьмовну навестить.

Заходи, ведь ты не барин,
посидим и погутаим,
не побрезгуешь — налью,
мы ж друг друга не обидим?
А потом мы вместе выйдем,
глянем улицу твою.
И твою, да и мою:

с Дворцом пионеров,
где я детей раздевала,
с филармонией,
где я паркет натирала,
с мастерской —
строчила я там телогрейки,
со сберкассой,
где нет у меня ни копейки,
с рестораном,
где я мыла посуду,
и теперь зайду —
дадут похмелиться,
со вторым отделением
нашей милиции,
где меня, как родную бабушку,
пропускают повсюду.
Где лично товарищ начальник
называет меня: «сватья»,
штрафует семь раз в году,
а в Новый год подарил на платье.

Хоть, говорит, ты и злостная гада,
и противогазна личиком,
но зимой в сарафане ходить не надо
даже алкоголичкам.

Тебе, говорит, восьмой десяток,
из тебя, говорит, не песок, а известка,
а шалишь — того и гляди, посадим
в колонию трудных подростков.

И то сказать:
пьянь я и пьянь,
какая радость у эдакой дряни?
А встану в полпятаго,
в самую рань, —
и жизнь мне кажется
в самой рани!

Тут у соседки внук, инженер,
все он смеется,
завидует словно:
«Ты мне, Кузьмовна,
вечный пример,
твой оптимизм
да мне бы, Кузьмовна...»

Ой, гляжу, притихли гости.
Эту грусть-печаль мне бросьте!
Ну, чего разинул рот?
Наливай пенсионерке
да смотри, по полной мерке.
А она тебе споет:

«Эх, я отсталая гражданка,
знать не знаю я наук,
у меня в углу за печкой
проживает злой паук.
Иногда его облаю,

иногда и полюблю,
оттого он злой, наверно, —
ему выпить не даю!

Вот кто-то с горочки спустился,
от пионерского Дворца...
Да это сам товарищ Либкнехт
под ручку с Розой Люксембург!»

Поливалов

Я Поливалов Михаил,
я вроде жил и не хамил
и выпивал не выше меры вроде,
я вроде жил и не тужил
и честно грузчиком служил
на молокозаводе.
Я, Поливалов Михаил,
по два бидона враз носил,
но этим вовсе не форсил,
а просто был здоровым по природе.
Но паралич меня скосил,
и вот, представьте, нету сил
меня узнать в теперешнем уроде.

Едва я ногу волочу,
и всех прохожих сволочу
(но не словами, а мычу),
и взоры гневные мечу
без видимой причины.
Вползаю в кабинет к врачу,
врача я тоже сволочу
(но не словами, а мычу),

а он — ладошкой по плечу,
что, мол, напрасно я ворчу,
что этим жизнь укорочу,
он говорит: «Мишаня, мы — мужчины...»
Он думает: нога болит,
с того и гневен инвалид.

Дурак... Душа изведала мученье!
Ведь что — нога? Черт с ней, привык.
Но то, что отнялся язык, —
вот это, доложу вам, огорченье.

Когда владел я языком,
был с этой драмой незнаком,
вернее, просто мыслей не бывало.
Теперь, поверьте, как назло,
откуда только принесло,
попутным ветром, что ли, накидало.

Имею мнение обо всем,
о чем мы все печаль несем,
и верьте: государственные лица
ответ узнали б от меня
на многие вопросы дня,
но не имею шанса поделиться.

Язык засох, и ни гугу,
как Лев Толстой, я не могу
молчать, и мне мычать —
страшнее ада.
О, если б кто сломал печать,
чтоб речь свою я мог начать,

ворчать, пророчить и кричать,
права качать и поучать,
да хоть по морде получать —
мне больше в жизни ничего не надо!

Я, сами видите, простак,
но размышлять большой мастак,
и вот одно из этих размышлений:
горю на медленном огне,
но каково бы было мне,
когда бы я не грузчик был, а гений?

Так будь он проклят, паралич,
ведь от него страдал Ильич,
не в силах, как и я, проговориться.
Ох, паралич, паскуда, волк,
из-за тебя наш вождь умолк,
не смог последним словом поделиться.

Как все же хрупок человек,
и как его недолог век,
какие люди омертвели — глыбы!
Нам надобно вождей беречь,
не то они не скажут речь,
которую они сказать могли бы.

Которую давно мы ждем,
когда ты вождь, то будь вождем,
толкни нам откровенную речугу,
ты все, как было, расскажи
и эти факты доложи
народу, а не избранному кругу.

Ты думаешь, взгрустнет народ?
Поверь, как раз наоборот:
от этой откровенности воспрянет.
Вот разве что не изберет
повторно тех, кто крепко врет,
но слабо в нашем общем деле тянет.

Ну, а пока народ — дурак,
любитель выпивки и драк,
я сам полжизни прожил на поддаче,
и был любимым анекдот,
который выдумал народ
под видом ученической задачи:
«У дяди Пети вермут есть
ценою в рубль двадцать шесть,
у дяди Коли - гриб под маринадом
ценою в ноль шестьдесят пять,
теперь извольте сосчитать,
вопрос такой... А что еще им надо?»

«Да вроде больше ничего» —
так отвечает большинство,
в вопросе юмор, юмор и в ответе.
Но ты мне, вождь, не так ответь:
у нас миллионы дядей Петь,
тебе удобно править дядей Петей?

Трудяга он, не паразит,
но ничего не возразит,
привык, что врут, что будут врать,
как ввали,
не возразит наверняка,

родила свою доченьку хроменькой,
и пошла я по жизни хромать.

Знаю только: отец был комроты,
а потом похоронка пришла.
В сорок пятом и мать умерла.
Мы с братишкою стали сироты.

В светлый полдень победного мая
нас в детдом привезли. Ребяшня
прилепила мне кличку: «Хромая» —
и дразнила той кличкой меня.

Были дети в ту пору жестоки,
каждый что-то свое вымещал.
Принимала я молча упреки,
а братишка меня защищал.

Но куда там с его кулачками
от всеобщей игры защитить,
и бессильно он плакал ночами,
что не мог за меня отомстить.

Жили мы — от обиды дрожали.
А потом — будто кто подсказал —
из детдома вдвоем убежали
и тайком пробрались на вокзал.

Там под лавку мы быстро нырнули,
в темноте очутились сплошной.
И, как видно, со страху — уснули.
И приснился мне город родной:

палисадник у нашего дома,
окна, вросшие до земли...
Мама мне улыбнулась знакомо...
А меня в это время нашли.

По вокзальному коридору
нас за шиворот: «Бегуны...»
Увернулся братишка — и деру!
Только дыркой сверкнули штаны.

Я вернулась в детдом, и вскоре
горе сжалилось надо мной:
Селиванов Сергей Егорыч,
новый завуч, — был тоже хромым.
Нараспашку, в пехотной шинели,
он ходил, будто на гору лез,
только скулы его бледнели
да поскрипывал новый протез.

Он стоял, опершись на палку,
на него было страшно глядеть:
«Вам, я вижу, Елену не жалко.
Но тогда и меня не жалеть!»

Был у палки цветной набалдашник.
Я сидела в немой тишине.
Слезы капали на задачник.
Было совестно завуча мне.

Ничего я не понимала.
Ничего не могла понимать.
И по всем я предметам хромала,
слезы капали на тетрадь.

А о брате ни слуху ни духу.
Где отыщешь? Страна велика.
И пошла я тогда в ремеслуху,
на вагонного проводника.

2

Хорошо до чего, одиноко
ехать, ехать, минуя мосты,
от Москвы и до Владивостока
и обратно опять до Москвы.

В бесплацкартном, конечно, скандалы,
шаромыжники, мордобой.
Но спокойно меж ними хромала
и была я довольна судьбой.

Хорошо до чего, одиноко...
А братишки пропал и след.
От Москвы и до Владивостока
я искала его пять лет.

Я искала его на вокзалах,
среди спящих вповалку людей,
в переполненных руганью залах,
криком женщин и плачем детей.

Шла на площадь, где люди торгуют,
кто торгует, а кто и крадет.
Вот за что-то парнишку мордуют.
«Отпустите!» Вгляделась — не тот.

В драной шапке и куцем пальтишке
пляшет парень чечетку в кругу.

До чего он похож на братишку —
я смотреть на него не могу.

Может, кем-то обманут жестоко,
может, где-нибудь сгинул в тюрьме...
От Москвы и до Владивостока
он ни разу не встретился мне.

3

А потом разболелось колено,
разболелось колено, хоть плачь.
«Ты свое отхромала, Елена», —
мне сказал на комиссии врач.

Он признал меня профнепригодной,
и была переброшена я
поначалу на мойку вагонов,
а с вагонов — на стирку белья.

Мыло едкое, скользкая пена
да постылое это белье...
Так и молодость постепенно,
как и я, отхромает свое.

Я старалась, парней привечала,
да женою не стала ничьей,
у подружек на свадьбах кричала:
«Горько! Горько!» Куда уж горчей.

Я как будто бы каменной стала,
места нет ни мечтам, ни слезам.

Я и брата искать перестала.
И внезапно явился он сам.

«Я, Еленка, немало скитался,
где бывал, не сейчас расскажу,
но я любящим братом остался,
и я это тебе докажу.

Жениха я тебе раздобуду,
заведешь молодую семью.
Посаженным на свадьбе я буду,
эх, пропью тебя, Ленка, пропью!»
Незнакомый, сильными лапами
обнимал меня, я: «Отвяжись!»
И смеялась я и плакала
и поверила в новую жизнь.

4

...Я не знала его, горемыку!
Пропил — точно! Себя самого...
Где устроится для прилику,
приглядятся — и гонят его.

Обносился, рванину донашивает,
в дверь колотит мою до утра,
то грозит и рычит, то упрашивает:
«Дай трояк, дорогая сестра!»

То откроешь ему, то спрячешься,
то налаешься с ним, то наплачешься.
В шесть утра бежишь, раскорячишься...
Я теперь работаю в прачечной.

Там насмотришься всякого разного,
и здоровым ногам не, выстоять.
День стою на приемке грязного,
день стою на выдаче чистого.

И когда я стою на приемке,
все я думаю: «Люди — потемки».
Люди, люди,
ваша потаенная
жизнь домашняя,
семейная, законная,
ванная, столовая, кухонная,
спальная, скандальная, смурная,
утренняя ваша и ночная,
мутная и зыбкая и муторная —
наизнанку вывернута,
тут она.
Все ваши подштанники —
тут, тут, тут!
Ваши на матрасники,
по углам клопы цветут!
Россыпи, россыпи,
бахрома, оборочки,
жеванные простыни,
ночных утех оберточки.
Потные рубахи, фартуки, халаты,
а на них яичницы, кисели, салаты.
Ваши пододеяльники, лифчики, носки...
Сдохнешь с тоски!

А когда я стою на выдаче,
да, стою на выдаче чистого...

Будто кто-то все это выточил
из хрустального и лучистого.

Лесом пахнет, лесною свежестью,
ранней сыростью сосен, полян.
Здесь рубахи устало нежатся,
глазки-пуговицы по углам.

Ах, какая семья красивая
за вот этой скатеркой встретится!
А какая любовь счастливая,
словно кружева эти, засветится!

Счастье женское, некуда деться,
нет светлее предутренних глаз...
Она утром подаст полотенце,
с петухами, вот это, подаст.

Будет смачно он фыркать, плескаться,
будет шею тереть докрасна,
а жена на него любоваться,
на него любоваться жена...

И когда я стою на выдаче,
среди немыслимой белизны,
все я думаю: люди — иначе
могут жить меж собой. И должны.

И я думаю: жизнь направится,
улыбнется, с собой позовет,
и несчастный братишка исправится,
попадет на хороший завод.

Счастье людям привалит, нагрянет,
счастья каждому хватит вполне,
и ко мне оно тоже заглянет,
и ко мне постучится, ко мне...

Автор

Итак, я повторил прием,
у нас бытующий поныне,
лишь кое-что исправил в нем
по части правды и гордыни.
И постарался, чтоб похоже
звучал соседей грубый слог,
весь их тезаурус...
И все же
предвижу встречный монолог:
«Ох, не рассказывай нам сказки!
Сказал бы честно: выбрал маски.
Но отчего уж всех таких,
а не каких-нибудь других?
Ну, почему твой машинист
не кто-нибудь, а сталинист?
А бывший грузчик, паралитик, —
вдруг рассуждает, как политик?
И оба плюс Кузьмовна — пьянь.
Каким здесь установкам дань?
В твоём шутилом освещенье
пронизан юмором разврат.
Мы в неподдельном возмущенье,
а ты, напротив, очень рад.
Там, где бы надо взять серьезный,
гражданственности полный тон,

ты с интонацией скабрезной
плетешь развязный фельетон!»

Я ваш упрек не принимаю!
Но я смиренно признаю,
что толком сам не понимаю,
о чем толкую и пою.
Моим ли только беспокойством
за путь, которым шла страна,
или иным, всеобщим свойством
переживаний рождена
поэмы нервная система?
Откуда замысел возник?
А ну как бухнуть напрямик:
системы нервная поэма...
Известно: жажда объяснить
законченное сочиненье
всегда наводит подозренье,
что в замысле порвалась нить,
и автор, в жалком ухищренье
обрывочки соединить,
зрачки от напряженья сузил,
на ощупь скручивает узел,
скрутил, но тут же, под рукой,
трах! — снова лопнул, но другой...
Другой бы попытался скрыть,
но я для пользы дела скромн:
да, был мой замысел огромен,
но слабой оказалась прить.
По впечатлению и честь
отдайте скромному поэту:
что получилось — то и есть,

чего не смог — того здесь нету.
Читатель! Я — вполне доволен.
Никто из нас владеть не волен
сознанием множества людей,
хотя б и молвили: «Владей!»
Нет! Каждый — сам себе начальство!
И смейся сам, и сам печалься,
и прозвучавшим голосам
откликнись всей душою сам.

КОРОТКАЯ СТРОКА

НАДПИСЬ НА КАЛЕНДАРЕ

Клялись и спорили, брели
в дыму ночной метели...
С тех пор какие февраль
и марты пролетели.

Пока мечтали про запас
и пребывали втуне,
какие миновали нас
июли и июни.

Пока вертела суета,
пока заботы гнули,
какие зимы и лета
и годы промелькнули.

Пока существовали мы,
ни хороши, ни плохи,
какие выплыли из тьмы
и сгинули эпохи.

Пока исполнить собрались
те клятвы молодые,
какие жизни пронеслись
и умерли какие.

Что тебя в ночи встряхнуло,
что привиделось во сне,
к сигарете потянуло,
как лунатика — к Луне?

Посочувствовать легко нам,
но о чем мечтаешь ты
в тесном кубрике кухонном,
у кастрюли и плиты?

В царстве дремлющей посуды
зрелищем каких картин
пронизал твои сосуды
бескорыстный никотин?

Ты о чем молчишь позорно,
не рыдая, не грустя,
перемалывая зерна,
кофемолкою хрустя?

В тишине с усилием тяжким
надрывается металл...
Расскажи хоть этим чашкам,
как полжизни скоротал.

*П*ы, пожалуй, прав отчасти,
что в борьбе за идеал
на диковинные части
ты свой замысел разъял:
на века и на сезоны,
на работу и парад,
на преграды и резоны
не нарушить тех преград,
на прогнозы и погоду,
на сиянье и на тьму,
на потеху — всем в угодую
и намеки — кой-кому.
На затверженное пенье,
на свободный, странный слог...

Но не прав, что в заключение
снова все сомкнуть не смог.
Да и кто тут стал бы правым?
Ты средь них не первый, ты —
кто мечтал путем лукавым
дотянуть до правоты.
А в итоге — так знакомо:
чем душа была тверда —
все в разрывах и в разломах
и разъято навсегда.

Когда покорный вдруг бунтует,
а простодушный вдруг плутует,
а трус кому-то морду бьет,
а бедный бедным помогает;
когда бескрылый вдруг летает,
а безголосый вдруг поет;
когда покойник, встав из гроба,
живей живого смотрит в оба
и нам советы подает —

перед лицом таких явлений
я должен должное отдать!
Но воздержусь от удивлений
и терпеливо буду ждать:

когда расщедрится богатый
и в небеса взлетит крылатый,
когда взбунтуется храбрец,
отважится учить учитель,
мечтать — мечтатель, а мыслитель
посмеет мыслить наконец?
Когда в разбой пойдет разбойник,
а шутовством займется шут,
а плутовством — ловкач и плут?
Когда, когда умрет покойник?
Когда живые оживут?

*Н*ичего святого нет,
нет такого, что потрогать —
был всеобщим бы запрет;
любопытства грубый коготь
цапнет, вытащит на свет —
ты под взглядами другого
обнаженнее нагого,
до последних тайн раздет.

Ты, предвидя быть раздетым
до последних тайн души,
не имей дурных секретов,
темных мыслей не держи.

Бывает ночь беззвездной. Что же,
когда отсутствует звезда,
отсутствует и путник тоже,
дорога дальняя пуста.

И мыслимо ли, в самом деле,
не накликая тем беды,
желать, чтоб плыли, шли, летели
без маяка, стрелы, звезды?

Рассудок прав: кому охота?
И остается ждать и ждать:
а вдруг да и найдется кто-то,
кто не умеет рассуждать?

С мечтой, не по годам серьезной,
ведомый дурью молодой,
выходит он в ночи беззвездной
и сам становится звездой.

*П*ростерла ночь края
от края и до края,
у каждого своя,
по-своему ночная:

в трясенье шпал, колес,
под крики тепловозов;
в кипенье стонов, слез,
через дымы наркозов;

в небесных закромах,
в громадине летучей,
ныряющей впотьмах
между звездой и тучей,

в бессонной маете
на склоне лет преклонных;
в счастливой тесноте
двух юных, обнаженных.

В кругу земных забот
их, любящих друг друга,
к рассвету ночь несет
и за пределы круга.

И там они летят,
друг другу глядя в очи,
и слышать не хотят
про все другие ночи.

Через всемирный свод
и сквозь всемирный холод
звезда идет в обход
и прибывает в город.

В далекой вышине
горя голубовато,
она встает в окне
у матери солдата.

А та давно не спит —
ей третью ночь не спится —
и на звезду глядит
и угадать боится.

«Через большую тьму
плыла ты и сияла,
мигни, и я пойму:
ты сына не встречала?

О, мне не надо лжи,
ты ужас или милость?
Скажи, звезда, скажи,
ты с чем ко мне явилась?

Ты радость иль беда,
ты мне зачем сияешь?

О, не молчи, звезда,
ты видела, ты знаешь...»

В далекой вышине
сверкая виновато,
молчит звезда в окне
у матери солдата.

*П*ак и эдак убивает
человечество себя —
и никак не убывает:
вот завидная судьба!

Создается впечатление,
что ему неведом крах,
что бессмертно население
на земных материках.

Намечается догадка:
человека не берет
ни дубинка, ни рогатка,
ни нейтрон, ни водород.

Всесторонне истязает
человечество себя —
и никак не исчезает:
неужели не судьба?

Но уж где-то юный гений
подрастает, может быть...
Ждем его изобретений,
чтоб себя искоренить.

Человек, когда бессмертным станешь,
век за веком коротать устанешь,
и, не зная голода и жажды,
ты захочешь умереть однажды...
Но узнаешь, с содроганьем в сердце,
что давно забыта тайна смерти.
И в своих космических деревьях
изучать начнешь ты книги древних,
размышляя о тогдашнем чуде:
как же раньше умирали люди?
Ведь у них так просто получалось,
и нужна была всего лишь малость:
пуля, вирус, подлость —
все годилось,
чтобы сердце вдруг остановилось.
Тысячи страниц перелистаешь,
только никогда не разгадаешь
тайн, в старинных книгах погребенных.
...А у них умел любой ребенок.

Его резали, маяли, гнули,
упрощали, не дорожа, —
человек стал дешевле пули
и едва ли дороже ножа.

Его взяли теплого, голого,
натянули мундир, дали штык,
перестали считать на головы,
миллионы стоят впритык.

Миллионы идут, миллионы,
друг на друга, от страха потя.
В мире сто министерств обороны,
в мире нет министерств нападения.

Ох, раздавим врага, злого ворога,
превратим его в месиво, в крошево!
Лицемерие ценится дорого.
Человечество ценится дешево.

Т де лучится сиянье густое,
где сегодня мы видим его,
там давно уж пространство пустое,
там давно уже нет ничего.

Это где-то погибла планета,
испустив на прощание свет,
как последнее слово привет
для пока еще целых планет.

И из вечности, как из колодца,
где вовек не избудет воды,
он в глаза мне все льется и льется,
теплый свет от погибшей звезды.

Я хочу, чтоб Земля уцелела!
Никогда чтоб в безмерной дали,
как последний привет, не летела
век за веком улыбка Земли.

КОРОТКАЯ СТРОКА

О становись, рука.
Зачем, скажи на милость,
короткая строка
нам нынче полюбилась?

Двадцатый век припас —
и как его хватило! —
на каждого из нас
по центнеру тротила.

Быть может, тот тротил,
нависший над строкою,
ее укоротил
и сделал вот такую?

Надежда есть пока.
Окрепнет, может статься...
А все ж — спеши, рука,
дай мне успеть остаться

единственной судьбой,
единственной походкой,
единственной строкой,
хотя бы и короткой.

РУССКАЯ ПТИЧКА, ЕВРЕЙСКИЙ САМОЛЕТ
(1992)

1

Уезжают одни на закат,
оставляют других на восходе.
Уж который по счету разлад
в кочевом иудейском народе.

Небогат нынче выбор у них,
перед кем-то всегда виноватых:
жить среди чужеватых своих
или возле чужих своеватых.

Тот ли, этот ли выбор неплох?
На каком им запнутся пороге?
С ними всю, кочующий Бог:
«Хорошо, — отвечает, — в дороге».

2

Кто швырнул эту горстку песка,
взвихрил эту песчаную выюгу
и послал ее через века
кочевать по всемирному кругу?

Сквозь пустыню погнал суховея,
как их новые страны знобили,

в вековой дороге своей
сколько родин они полюбили.

Много раз пересыпана горсть
из долины в другую долину
и песчинки рассыпались врозь,
вросши в чуждые камень и глину.

Но опять запоет ветерок
и покатит их с шорохом к югу,
осыпая на отчий порог
по второму и третьему кругу.

Спокойные евреи молились в синагоге перед дорогой дальней к Земле Обетованной, а нервные евреи не думали о Боге, сгорая в партработе, столь яростно желанной.

Спокойные евреи нашли не тихий угол: по всей Обетованной пришлось поставить танки, а нервные евреи замучили друг друга на стройках и на съездах, в Кремле и на Лубянке.

Спокойные евреи живут в Обетованной немного нервной жизнью, поскольку нет покою, а нервные евреи лежат под Магаданом, спокойные такие под вечной мерзлотою.

1

Я нынче вышел без шарфа:
растет потребность в кислороде.
И ноет пятая графа,
как ноют кости к непогоде.

Метель, поземка, полумрак.
Толпа прохожих? Волчья стая?
Летит в снежинке древний знак,
шестью иголками блистая.

Колючий день и колкий взгляд.
Как пышно замело дороги!
И замедляет ход Земля
в глухом предчувствии тревоги.

2

Прозреньем дарит ночь меня!
Я, тайный смысл вражды и драки
не разглядев средь бела дня,
увиджу в непроглядном мраке.

Все лампы погасила ночь,
заткнула световые щели.

Не то чтоб лично мне помочь,
но все же не без этой цели.

Пусть милости ее малы,
благодарю за эту малость,
за эту часть всемирной мглы,
которая и мне досталась.

Прощайте, пятнадцать республик,
страна из пятнадцати стран.
Прощайте, ветра Казахстана
и Риги и дождь и туман.

Прощайте, прощайте, прощайте,
ну как не припомнить без слез
татарские улочки Крыма,
Урала гранит и мороз.

Успел полюбить я пространства,
но я не успел вас постичь,
Одессы и юмор и мрамор,
Москвы и кумач и кирпич,

и город, быть может, заглавный,
где эхом забытой молвы
постанывал блоковский ветер
над сумрачным телом Невы.

И ты, неказистый мой город,
набитая камнем земля,
заводы, дворцы и сараи,
рябина, сирень, тополя.

Здесь были милы мне соседи,
согретый голландками дом.

Здесь ненависть нынче крепчает
и гибелью веет кругом.

Не знаю, уеду ли, сгину
на этом знобящем ветру,
скорее умру, чем уеду,
уеду, но раньше умру.

Умру, об одном пожалею:
постичь не успел я, хоть плачь,
Урала гранит и морозы,
Москвы и кирпич и кумач.

1

Утопаю в стихах моего одногодка,
чья погодка сумрачна; чья походка,
где б ни брел он, в Венеции или Нью-Йорке,
увязает в песках возле Невского устья,
где бесцветное море полощет оборки,
обновляя год праздник наряд захолустья;
чьи сумбурные речи
бесконечны, как новгородское вече,
как ходьба под турахом ночной деревенской дорогой;
в чьей растрепанно строгой,
заразительно вялой манере
все скрипят, все болтаются смутные двери,
а за ними,
над пейзажем, изложенным столь прихотливо,
что растут на соседних холмах сосна и олива,
в вечеряющей мгле пролетает библейское имя
птичьим телом стального отлива.

2

Синь тоски его синтаксис
и словарь словно сварен
из всего понемножку,
допустивши в окрошку
все, что жизнь накрошила

на язык горожанам,
эта смесь хороша нам
и пронзает, как шило,
квасом вместе с шампанским,
водкой с примесью перца —
ну, хлебни этой дряни,
прогревая гортань и
массируя сердце —
и шаманствуй!

ИСХОД

ПОЭМА

1

*М*ой возраст для анкет?..
Поставьте мне в анкете,
что я три тыщи лет
живу на белом свете.

Что так давно живу,
не горбясь, не старея,
что вижу наяву
походку Моисея.

Заядлый пешеход
с могучими ступнями,
не счесть, который год
маячит перед нами.

Не счесть уж, сколько дней,
да мы и не считаем,
в следы его ступней
ступаем и ступаем...

Нас из позорных лет
египетского плена
его тяжелый след
выводит постепенно.

Гессема блудный сын,
потомок Авраама,
ведет пустыней Син,
пустынею Ефама.

Он гонит день-деньской
оголодавших, босых.
Пророческой рукой
зажат пастуший посох.

Ведет среди песков,
в ущелиях и скалах,
казнит отступников
и пестует усталых.

То радостен, то хмур,
хваля и проклиная,
ведет пустыней Сур
к подножию Синая.

И от горы Синай,
пустыною Фарана,
в обетованный край,
в долины Ханаана.

К тем травам и холмам,
к тем пастбищам обильным,
где старец Авраам
богатым был и сильным.

К тем небесам родным,
в знакомых предках звездах,

где молоком парным
и медом пахнет воздух.

Где гладь озер блестит
под синью небосвода,
где родина грустит,
ждет нашего исхода.

...И первым на тропе,
в столпе огня ночами,
днем в облачном столпе,
был Яхве пред очами.

2

Короткий отдых дан.
Но беглецам не спится.
Беззвучно Иордан
у наших ног струится.

Свинцовая волна
окутана туманом,
и в темноте грозна
страна за Иорданом.

Обнесены стеной
цветущие долины
и в башне крепостной
засели исполины.

Отборные бойцы,
их вид могуч и страшен.

Черны, как смерть, зубцы
Иерихонских башен.

Так родина отцов
скитальцев повстречала...
С отвагой храбрецов
в нее войти пристало.

Быть может, жизнь отдать,
пожертвовать собою.
Но что-то не видать
среди нас готовых к бою.

Кричали: «Лучше в путь
обратный нам пуститься,
в Гессем народ вернуть
и в рабство возвратиться!»

«Для этого ли мы
шагали неустанно,
чтоб кануть в царство тьмы,
под струи Иордана?»

«Возлюбленный наш бог,
в пустыне шедший с нами,
как видно, пренебрег
своими племенами!»

«Уж лучше глину мять
в поместьях фараона,
чем в грудь свою принять
стрелу Иерихона!»

3

Крепчали голоса...
И совершилось чудо!
Разверзлись небеса
и Яхве рек оттуда:

«Как поводырь — слепцов,
отринувши гордыню,
не я ли в край отцов
вас вел через пустыню?

Днем в облачном столпе
и в пламеневшем — ночью,
шел первым по тропе
не я ли сам воочью?

Не я ли вас кормил,
с небес вам манну сея?
Не я ли вразумил
пророка Моисея?

Когда он вам искал
спасения от жажды,
источник среди скал
не я ль вам дал однажды?

Не скупое одарял
я род ваш чудесами,
меж тем не проверял,
на что способны сами.

У этих берегов,
для укрепления духа,
я вам послал врагов...
Что ж донеслось до слуха?

Когда стенает плоть,
душа восстать не может —
и ждете, что господь
врагов вам уничтожит.

Обилием щедрот
от бога и пророка,
Израиля народ,
ты развращен глубоко.

И вот мой приговор,
всецело справедливый:
я напускаю мор
на весь ваш род трусливый.

Ничтожных духом, вас
да уязвят болезни!
Молись в последний раз,
Израиль — и исчезни!»

4

Вставал рассвет... В холмах
тревожно пели птицы.
Господь готовил взмах
карающей десницы.

Дышали за рекой
луга, сады и пашни.
Хранили их покой
Иерихона башни.

Из крепостных бойниц
враги, смеясь, следили.
И громче ранних птиц
скитальцы возопили.

Стенанье шло волной
и ужас цвел на лицах...
Лишь пастырь наш земной
осмелился взмолиться:.

«О господи! Прости!
Но поздно или рано
ты обещал ввести
нас в земли Ханаана.

Неведомых врагов
мы одолеть не в силах —
извечно кровь рабов
от страха стынет в жилах.

Так помоги же нам
в последний час исхода,
и убедишься — там
возвысит нас свобода.

Мы, твой целуя след
брели к обетованной.

Исполни свой обет,
мне и народу данный!»

Луч огненный блеснул
над облачною бездной
и через гром и гул
пробился глас небесный:

«Кто в рабстве был рожден,
к свободе непригоден,
освобожденный, он
все ж будет несвободен.

Когда не смог народ
извлечь мечи из ножен,
лишь смерть — ему исход,
иной и невозможен».

И вновь стенаний шквал
пронесся над толпою.
Но Моисей воззвал
с повторною мольбою:

«Ты прав: пощады нет
рабам презренным этим.
Исполни свой обет
не нам, но нашим детям.

Младенца отдели
от сгнившей пуповины!»
И раздалось вдали:
«Да, юные безвинны...

Но памятлива кровь
и в новом поколении,
боюсь, поставит вновь
народ твой на колени...»

Луч вспыхнул и угас,
и голос удалился...
Но пастырь в третий раз
неистово взмолился:

«Когда в них нет вины,
зачем им быть в ответе?
Мы в рабстве рождены —
иными будут дети.

Из нынешних юнцов —
вселится в них отвага —
мы сотворим бойцов
тебе и нам во благо!»

Возникли гром и гул,
трон облачный качнулся,
и Яхве-бог вздохнул
и — помню — усмехнулся:

«Сей поворот судьбы
возможным полагаю.
Вас испытать дабы,
в пустыню вас ввергаю.

Прозренья тяжек труд
и он пребудет с вами,

покуда не умрут,
кто родились рабами.

Лишь ваши сыновья
вернутся из пустыни.
Так полагаю я.
Тому и быть отныне».

Сказал он — и исчез,
как исчезают боги,
и стер с лица небес
и трон свой и чертоги.

И солнце, хлынув вниз,
омыло наши лица.
Мы дружно пали ниц
и начали молиться.

Воспрянул сникший дух
из горя и печали,
и молвил пастырь вслух,
о чем рабы шептали:

«Будь терпелив, народ!
В грядущем зри свободу:
не ты — твой сын придет
к счастливому исходу.

Вынослив будь, как вол,
чтоб поздно или рано
господь детей привел

в долины Ханаана».

Сияет даль дорог,
сверкает солнце в росах,
бесстрашный наш пророк
сжимает крепко посох.

Скорей за ним вослед!
Надежда вновь проснулась!

5

...И на три тыщи лет
пустыня затянулась.

ПЕСНЯ ОБ ОДЕССКОМ ЮМОРЕ

Б. Чарному

*Д*рузья, ни разу в жизни не был я в Одессе
и до сих пор о ней мечтаю, словно в детстве,
и собирался я туда уже раз десять,
но опоздал, и жалко мне до слез,
что не откроется одесская пивная
и не завалится кампания блатная,
где были девушки Маруся, Роза, Рая
и с ними Костя, Костя-шмаровоз.

От юмора никто еще не умер,
и шутка не дороже докторов.
Спасибо, старый друг,
одесский юмор,
а чтоб ты был здоров!

Мечта, как сон: поют то скрипка, то гитара.
Я прохожу, как Моня-франт, Одессой старой,
и прямо в школу танцев Соломона Шкляра,
чтоб сделать шаг вперед и два шага назад.
Я хитрым стал, подобно Бендеру Остапу,
и отыскал я ту неведомую шляпу,
и в этой шляпе я отправился в Анапу
и в непонятной сел я там тоске.

«Семь сорок», танец нищих — что за номер!
Балет полуголодных и воров.
Спасибо, старый друг,

одесский юмор,
а чтоб ты был здоров!

Я Беня Крик, я философствовал и грабил,
я слышал тонкий свист кавалерийских сабель,
я Исаак Эммануилович, я Бабель,
я сын Одессы. Мама, я погиб.
Знакомы были мне одесские поэты
и их никем не превзойденные куплеты.
Ах, эти песенки давно уже пропеты
и эти люди там же, где и я.

Наш гордый век на все глядит угрюмо,
он чуточку излишнее суров.
Спасибо, старый друг,
одесский юмор,
а чтоб ты был здоров!

М. Михалевичу

*В*сесторонний зай гезунд,
если делать физзарядку!
А когда ее не делать,
то болезни загрызут.

Либер зун, любимый сын,
твой папаша пить желает
и прискорбно посылает
за поллитрой в магазин.

Тонко дышит вайн изюмный,
древний наш пасхальный вайн,
сын мой, зун мой, я безумный
алкоголик... Наливай!

Пожалей меня, сынок.
Я устал и одинок.

За окном огни потухли.
Сядем мы с тобой на кухне
под усохнувшим бельем
и отнюдь не виноградной,
но не менее отрадной
по стаканам разольем.

Мы с тобой черноволосы,
мы, мне кажется, поэты.

Есть еврейские вопросы,
есть еврейские ответы.

В этом прелесть есть большая:
проболтаем до утра,
русской водкой заглушая
грусть еврейского нутра.

СУББОТА

*П*о субботам Россию качает,
по субботам страна эта пьет,
и души в первом встречном не чаёт,
и протяжные песни поёт.

Человек моего поколенья,
даже, может быть, соученик,
принародно упал на колени
и к асфальту устами приник.

Пил ли нынче он слишком дурную?
Расшалился не в меру с нее?
Целовал ли он землю родную
сквозь шершавую кожу ее?

Что гадать, не достало заботы:
этот ветер носил и меня
по законам российской субботы,
по ухабам воскресного дня.

К понедельнику протрезвеем,
все пройдет, как с химфабрики дым.
И еврей остается евреем,
зря пытаюсь казаться другим.

Лишь по части вина и закуски,
да, по части закуски вина,
выпивать научился по-русски.
Хоть за это спасибо, страна.

ГОВОРЯТ ЗАЙЦЫ

Зайцы мы, зайцы...
Осень.
Осенью зайцу плохо.
Снова спасения просим
мы у лесного бога.

«Бог наш лесной, звериный,
Заяц Заоблачных Рощ!
Вереск разит резиной,
псами воняет хвощ.
В стынувшей луже осенней,
в роще, рокочущей мерно,
горечью корки осиновой
тянет предсмертно.
Скоро пахнет по травам
сизыми порохами,
заячьим потом кровавым,
нашими потрохами.
Полдень огня и агоний!
Скрыться в чащобы,
страшной погоне
неведомые еще бы...
Уши нас выдадут, уши...
Заячий наш Господь,
ты не спасай нам души,
плоть сбереги нам, плоть.

Тайную нашу тропинку
денно и ночью храни,
смертную нашу дробинку
ягодкой урони.

Порох сожги в подсумках!
Выломай поршни моторам!
Вырви курки двустволкам!
Выдерни гончим ноздри!»

Заяц Лесов Небесных,
Вечнопушистый Заяц,
облачком в синих безднах,
сосен слегка касаясь,
он проплывает молча...

На алтарях опушек
свечкой горят березы.
Льются из глаз опухших
заячьи наши слезы....

Зайцы мы, зайцы...
Осень.
Осенью зайцу плохо.
Бога напрасно просим.
Нету у зайцев Бога.

КАК БРЮНЕТЫ С БЛОНДИНАМИ ВОЕВАЛИ

СКАЗКА

*Т*ам, где пески прогреты
и дует суховей,
живут одни брюнеты
в Брюнетки своей.

Там яблоки-ранеты
И груши там растут,
живут одни брюнеты,
с брюнетками живут.

А там, где вечно льдины
и холодно сове,
живут одни блондины
в Блондинии своей.

Там жуткий холодина
и вьюги там метут,
живут одни блондины,
с блондинками живут.

А точно посередке —
Рыжавия-страна,
зажата, как селедка,
меж тех и тех она.

Но с этими и с теми
хранит нейтралитет —

ни с севером, ни с югом
конфликтов просто нет.

А вот у тех и этих
совсем наоборот:
поссорились когда-то,
в какой-то древний год

Когда-то, кто-то, где-то...
Не вспомнить и молвы.
С блондинками брюнеты
поссорились, увы.

И по ночам, по гравию,
во льдах, в лесах, в песках
ползут через Рыжавию
шпионы в париках.

Брюнет — льняные кудри,
спешит к подножью льдин,
он выбрит и припудрен,
ни дать ни взять блондин.

Блондин, как мышь, проворен,
и робости в нем нет,
он черен, словно ворон,
ни дать ни взять брюнет.

Но вот, во всем разведав
враждебную страну,
решились те и эти
и начали войну.

«Вперед, вперед, родная
Блондиния моя!»
Но бомбы попадают
в рыжааские края.

«Брюнетия родная,
вперед, вперед, вперед!»
Но пули истребляют
совсем не тот народ.

Брюнетия стреляет,
Блондиния бомбит,
Рыжавня страдает,
Рыжавия горит.

Рыжавия взмолилась —
уж гибель у дверей:
«Нам окажите милость,
миритесь поскорей!»

«Чтоб мы да помирились?!
А впрочем... так и быть!»
Они объединились...
и стали рыжих бить.

Теперь из-за кордонов
летит волна атак
в Рыжавию законно,
поскольку это враг.

С брюнетами блондины
теперь навек друзья,

блондинов от брюнетов
и отличить нельзя!

Вручается блондинам
брюнетская медаль,
блондинская брюнетам...
Какая тут мораль?

Когда блондин с брюнетом
закусят удила —
беги подальше, рыжий:
плохи твои дела.

КРЫЛАТЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

КОМИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ

1

*Р*аным-рано на рассвете
спали взрослые и дети,
и алкаш дремал в кювете,
и зевал до самых гланд
сторож в ближнем сельсовете,
и поэт Вас.Киршензон
спал и видел страшный сон,
а в самом В.К., поэте,
спал его большой талант...

В те засонные минуты
спали в цирке лилипуты
после трех подряд программ —
сном огромным, гулливерским,
и пугая храпом зверским
за стеною львов и лам...

Раным-рано на расссвеге,
когда сладко спали дети
в тьме детсадовских веранд
и алкаш, слегка разутый,
замерзал в своем кювете,
и мешали лилипуты
отдыхать усталой ламе,

сторож в ближнем сельсовете
защищал двумя стволами
сейф от неизвестных банд,
и в В.К., большом поэте,
спал его большой талант...

Словом, в час довольно смутный
совершился случай чудный!
И едва лишь рассвело —
над столицей областной
и окраиной лесною
от восхода до заката
размахнулось, пролегло,
встало белое крыло,
на изнанке розовато.
Стало все под ним крылато!

2

Беспартийные и члены,
коренные и нацмены,
генералы и солдаты,
нумизматы и юннаты,
вылезайте из-под ваты,
вы крылаты!

Эй, вы, пролетариаты
от сохи и от лопаты,
эй, врачи и инженеры
от зарплаты до зарплаты,
покидайте интерьеры
скудных комнат, вы крылаты!

Жулики и плутократы,
улетайте от растраты!
Не горюйте, психопаты,
и стартуйте из палаты,
вы крылаты!

Зоосадовские звери,
что вам клетки, что вам двери?
Крокодилы и слоны,
вы крылаты, вы вольны!

Не позорьтесь по заборам
транспаранты и плакаты,
со своим враньем и вздором
улетайте, вы крылаты!

Покидайте магазины,
и прилавки и витрины —
фрукты, овощи, салаты,
и сыры, и сервелаты —
вы крылаты!

Приглашает небо в гости
телевизоры и гвозди.
Прочь из стен универмага,
кожа, лампочки, бумага,
мандолины и халаты,
вы крылаты!

3

Глянул я в свое окошко:
боже, что за чудеса?

Там летит в мешке картошка,
в целлофане — колбаса!
Запахом приятная
и, видимо, бесплатная!
Я как был, в трусах, босой,
полетел за колбасой!

Праздник, праздник в небесах,
кто в кальсонах, кто в трусах!
А кругом летают водки,
коньяки и хванчкара,
машут хвостиком селедки,
трюфеля, как парашюты —
фу-ты, ну-ты,
леденцы, как мошкара!
Буженина, ветчина —
вот те на!
Баба окорок поймала...
Мало.
Ящик хереса поймала.
Мало.
Напихала в пианину
карбонат и буженину;
наловив себе рубах,
макаронами забила,
и крупу не позабыла,
да еще кета в зубах!

Вот алкаш летит в обнимку с поллитровкой,
на ходу он подкрепляется зубровкой.
Вот и сторож сельсовета,
в двух костюмах из вельвета

и с винтовкой «три кольца» —
не узнаешь молодца!

А лилипутам нелегко:
что ни ловят — велико,
И кричит их бригадир:
«Полетели в «Детский мир»!

Праздник, праздник в облаках:
много резвых,
мало трезвых,
и все в джинсовых портках!

4

Пером малиновым
взмахни, павлин.
Ура! Летишь!
А на Уктусе есть трамплин,
он горлом лебедя
пронзает тишь.

А за горой, в охотхозяйстве —
сигнал побудки.
Чтоб от добычи отказаться?
Ну, дудки!

Улетевший зоосад
изрешечен из засад.
— Пли! Пали!
— Пиф! Паф!
Спи, пав-лин,
у-пав.

Тигро-лев
(бах! трах!),
око-лев —
сам страх.

Летит свинья!
Летит свинец:
— Плюм-бум!
Свинье конец.

Стаи, стаи из-за леса...
— Куда лупишь, охломон?!
Сбили в лете зэмээса,
олимпийский чемпион.

Весь похожий на павлина,
в «адидасе» расписном
реял в воздухе лесном.
Черт понес его с трамплина
репетировать медаль...
Впрочем, тоже не летай.

Слон, как бабочка, порхает,
чем приятно удивлен,
а с земли в него стреляет,
так, примерно, батальон.
Слон умен, а пуля дура,
тридцать тонн пошли в пике,
бомба лопнула в реке!
В миллиарды клочьев шкура,
хобот колышком в песке.
И рыдая горлом длинным,

улетел во мрак долин
с гнусным криком лебединым
обезумевший трамплин.

5

Фундамент разломивши с треском,
окрест кварталы разнеся
и мраморным сверкая блеском,
обком взлетает в небеса!

И дисциплиною влекомы,
да и попутным ветерком,
летят горкомы и райкомы,
вставая в клин за вожакom.

Какой полет — сродни мечте!
Впервые вы — на высоте!

Роняя карточки учета
и персональные дела,
вглядитесь с птичьего полета
на достижения села,
на то, как дым фабричный вьется,
на вами созданный дурдом,
трудом в нем счастье создается,
но в это верится с трудом.

Нам ничего не обещайте,
на юг, родимые, на юг!
Прощайте, милые, прощайте,
да не вернитесь больше вдруг.

6

Киршензон Васнль Васильич
спозаранку сел за стол.
Вдруг, летая без усилий,
закружил над ним осел.

Пониманью недоступен
насекомый этот вид:
он для мухи слишком крупен
и к тому же не жужжит.

«Улетай ты, бога ради!
У меня работа в срок.
Да, того гляди, нагадишь
меж моих бессмертных строк!»

Но осел кружится, зыбкий,
зубы щерятся в улыбке.

На него таращась сонно,
размышляет Киршензон...
Озарило Киршензона!
И в движении лихом
на осла он сел верхом.

Взлетел осел и стал Пегасом,
Вас.Киршензон, нажми на газ!
Солнце на небе погасло,
где промчался сей Пегас!

Вдохновенья час настал,
Киршензон идет в премьеры,

Пастернака не читал,
но летит поверх барьеров.

Эге-гей, Василь Васильич,
ну, а этот — не осилишь?!

Злой Дантес, корректен в меру,
крутит в пальцах пистолет:
«Киршензон, прошу к барьеру,
если вправду вы поэт.
У меня за вами — Лорка,
Байрон, Гете, Низами,
мое хобби — перестрелка
с гениальными людьми».

Киршензон — отважный парень,
на колени не упал.
«Я бездарен! Я бездарен!» —
он Дантесу прокричал.

«Ну, живи, коли бездарен», —
отвечал ему Дантес
и за тучкою исчез.
«Ах, премного благодарен!» —
отвечал ему В.К. —
«Благодарен на века!»
Вновь хотел седлать Пегаса,
но на морде у осла
отвращения гримаса
проросла и расцвела:

«Ты еврей или татарин,
русский, немец ли, француз,

но, поскольку ты бездарен,
на хрен мне ненужный груз?

Только к подлинным пиитам
я питаю интерес!»
Он поддал В.К. копытом,
и В.К. слетел с небес.

Падал он и удивлялся,
как под ним красив Урал,
он горами восхищался
и в полете умирал.

Он летел, такой таинственный,
как притихшая тайга,
и рождалась в нем поистине
бессмертная строка.

Поздно вас, Вас.Вас., спасти.
И строки не записать.
Легко, господи помилуй,
легко след твоей руки,
и поэт в полете легко,
легче хода легких лодок
посреди большой реки,
легко, легко на помине,
на помине все легко...

7

А на закате
крыло сломалось.

Крыло накрылось.
Лишь день летания...
Какая малость!
Но все же милость.

А, может не было?
Крыло приснилось?

8

Мечтать о полетах — извечный обычай
у всех, кто живет на Земле.
Но что нам поделать с моею добычей,
вот этой, лежащей у вас на столе?

Я эту поэму ловил в облаках,
и после, вернувшись в пределы балкона,
узнал на уловленных в небе листьях
я почерк знакомый Вас.Вас.Киршензона...

9

А в остальном —
ничто ие ново за окном:
и райкомы, и солдаты,
и жулье, и психопаты,
транспаранты и плакаты —
честь по чести
все на месте.

В школе детки,
звери в клетке,

пролетарий у станка,
сторож снова в сельсовете,
и алкаш храпит в кювете,
и опять разут слегка.

А единственный, кто смылся —
сервелат.
Вот кто истинно крылат.

СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ

ПОЭМА

1

*Р*усская птичка,
еврейский самолет,
сел и уехал
на Ближний Восток.
На Ближний Восток,
на дальний свет,
хорошо в дороге
и где нас нет.

2

От Страны Советов,
где метель метет,
до Страны Заветов,
где миндаль цветет,

от уральских кряжей
до Синай-горы,
где господь вручил нам
щедрые дары.

Меж песков сыпучих
и безводных скал
шли к обетованной
и ковчег сиял.

Посох Моисея
вел в пустыне Син...
Вечность пролетела.
Чей теперь я сын?

Смугловат и черен,
да не в этом суть.
Языка не знаю,
праздники — чуть-чуть.

Ягода-рябина,
елка и сосна,
северная, грозная,
морозная страна.

Сосны и березы,
я вас полюбил,
на дрова для печки
тридцать лет рубил!

Смоляные слезы
на сосне чисты,
и свернулся торой
свиток бересты...

3

Я воздух марта целовал,
свинцовый край большого неба...
Кто был чужим — своим не стал.
Кто был своим — своим как не был.

Высокий светоч на столбе
горел, от стужи скособочась,
и сколько лиц прошло в толпе,
в ней ровно столько одиночеств.

Плечом к плечу — никто ничей...
Нам вслед поземка завывала,
взмывала в конусе лучей,
метельный занавес взвивала.

И переливы кисеи
нашепывали, ворожили:
«Еще опомнятся свои...
Еще обнимутся чужие...»

4

Ягода-рябина,
мать моя Россия,
пальмовая ветка,
бабка Палестина!

Мать моя Россия,
бабка Палестина,
вы признайте внука,
вы простите сына.

Отвернулась пальма
и молчит рябина,
не признали внука,
не простили сына.

Улицей Свердлова,
троллейбус номер пять,
полчаса до Северного,
можно постоять.

Все мы в равном праве,
нету нас равней,
стой, где хочешь, гражданин
хоть каких кровей.

По вокзальной площади
едет номер пять,
нехристь ли, христианин,
место есть — присядь.

Стой спокойно, и сиди
смело — не дрожи...
Но когда захочешь лечь —
паспорт покажи.

Всем нам дарованы
равные права...
На тот свет дорога —
пятая графа.

Из одной отчизны,
из одной страны —
на три чистых поля,
на три стороны.

Над одной стороной
полумесяц жестяной,
над другой стороной
могендовид встал резной,
крест над третьей стороной,
где сосновый, где сварной.
И конец безбожью вечный
под звездой пятиконечной.

Но — и под пятью лучами
уходя за окоем,
каждый — на своем причале,
каждый во поле своем.

А над этими и теми
в ранней сумеречной теми
край небес повис льняной,
бор еловый встал, лиловый,
темнолицею стеной.

И над этими и теми
в ранней сумеречной теми
вихревая карусель:
русской во пленницею бьется,
и арабской вязью вьется,
и накидывает талес —
на три поля разметалась,
не отсель и не досель,
тех и тех не разбирает,

в трех полях одна рыдает,
вост русская метель.

7

Засевали под кустами,
засевали меж кустов,
сеют летом и зимою
семенами трех сортов.

Здесь засеяно Иваном,
тут засеяно Абрамом,
там засеяно Ахметом...
А трава взошла одна.

И одни и те же ели,
ели, сосны и березы,
в трех полях с берез свисают
перламутровые слезы,

В трех полях клюют рябину
и порхают свиристели
и трещит сорочий голос
на верхушке старой ели.

8

«Какая ель, какая ель,
какие шишечки на ней!»
Какие шишечки на ней,
какой под ней лежит еврей!
Он и здесь, в глубокой яме,

плохо верит в чудеса,
обойди его корнями,
новогодняя краса.

Мимо, мимо — и не мешкай,
бойся, бойся — это яд;
переймешь его усмешку
и сомнений полный взгляд.

...Унавожена неверьем,
зябнет в русскую метель
над задумчивым евреем
ироническая ель.

9

Выйдешь в поле и увидишь...
Чей вас бог хранит?
И кириллица и идиш
врезаны в гранит.

И вселенский круг фамилий —
от прошедших Плен,
от израненных израилевых
двенадцати колен
до испанских и германских,
и мадьярских и славянских
и иных племен...
Вавилон.

Занесло вас, занесло вас, ой и далеко...
И снегами занесло вас, ой, и глубоко...

Храм погиб, ковчег разрушен и потух очаг,
и кочевника котомка виснет на плечах.

Гнал по кругу ветер странствий и простор знобил..
Вы давно Завет забыли, он вас не забыл.

Он незримо плыл меж вами, золотой ковчег,
и теперь он охраняет здешний ваш ночлег.

Вы сыны своей отчизны, северной страны,
на гранитные скрижали вы занесены.

Каждый сам себе преданье, сам себе Завет.
От Синая до Урала протянулся след.

Вас хранит гранит Урала, отпевает лес,
и метель вас осыпает манною с небес.

Вы такие непоседы, мир большой такой..
Здесь — последнее кочевье, вечный ваш покой.

10

Ломом, киркой,
пьяной рукой —
к чертовой матери
вечный покой!

Коганы обломаны,
Гольдманы раздолблены,
Левины раскрашены,
Локшины раскрошены,

Ашкенази сбиты наземь —
далеко отброшены!

Голоды расколоты.
Свастика у Голды.
У полковника Исаака
сразу два паучьих знака.
У его соседа Пети
Хенкина — веселый вид:
на эмалевом портрете
левый глазик подбит.
Он подмигивает, Петя,
«Смейтесь, дети!» говорит.

Коганы поставлены,
Гольдманы подправлены,
Локшины подклеены
И отмыты Левины.
Ашкенази вновь из грязи
встали в князи.

И живые, оттирая
пальцы в краске и цементе,
шепчут мертвым: «Голда, Рая,
Лия, Зяма, Вова, Мендель,
Лева, Изя, Соломон,
мир вам, спите вечным сном.
Шолом...»

Только Хенкин всех пугает:
он не спит.
Левым глазиком мигает,
«Смейтесь, дети!» — говорит.

Я ветка древней Палестины,
куда б меня не поместили,
от лесотундры до пустыни —
во всякой почве прорасту.
Меня ломала инквизиция
и гнула царская полиция...
Я то умру, то расцвету.

Адольф, творец безумной истины,
чтоб вырастить народ единственный,
сожженными моими листьями
поля Европы удобрял.
Иосиф, тот — большой мичуринец,
чтоб я вконец не окочурилась,
от дыма трубочки прищуриваясь,
к сосне амурской прививал.

Вновь гроыхает сотня черная,
доверьем чьим-то облученная,
благой задачей увлеченная:
похоронить меня во рву,
а нынче, до поры до времени —
хоть выдрать из российской зелени
всю эту без роду, без племени
мою нездешнюю листву.

А ветка на ветру полощется,
ей родина — вот эта рощица,
ей здесь цвести и плакать хочется
и в мае распускать листву...

Какою силой неустанною,
какою нераскрытой тайною
какой генетики, ботаники,
я все жива, я все живу?

12

Михайловское кладбище решили
закрыть и парком сделать городским.
Ему лет полтора ста. Здесь лежат
весьма высокородные дворяне,
но также и мещане и купцы.
А далее — советский обыватель.
Все больше пролетарии, но есть
профессора и видные партийцы.
В одном углу — умершие от ран
в госпиталях военных лет. В другом —
достойно погребен Аркадий Коц,
поэт довольно скромных дарований,
но перевел «Интернационал».

Здесь летом так тенисты тополя!
Все заросло крапивой, бузиною,
в часовне склад и в церкви тоже склад.
Убогость, запустенье. На могилах
бутылок бой, объедки. Но прибраться
и выломать ограды и кресты
и холмики сравнять заподлицо —
прекрасный будет парк.
Аллеи, павильоны, дискотеки...
Здесь будет дискотека? Я не знаю.
Но знаю: на костях плясать умеем
и вдоволь наплясались мы на них.

С тех пор, как появились объявления о будущности этих скорбных мест и к ним — рекомендации всем близким перенести покойников своих, прошло уже лет десять. Как ни странно, но многие лежат, где и лежали. Нет близких? Или есть, но не боятся и, зная, что такое наши планы, ничуть не верят в преобразование погоста в парк? Бог им судья. Но я не пожелал, чтоб музыка гремела над мамою моею.

Мне объяснили, что за тридцать лет такие происходят превращения, что будет для оставшегося праха достаточен обычный детский гробик. «Обычный» — так советчики сказали. Я так и сделал — детский приобрел. Мне также предрекли, что созерцанья разрытия могилы материнской я, будучи нормальным человеком, не вынесу, и следует просить о помощи кого-то из друзей. Но этому совету я не внял — не чувствуя ни ужаса, ни страха в предвиденьи мгновения, когда передо мной разверзнется могила и я увижу, что уж там осталось за тридцать лет от матери моей. Наоборот! Тогда, мальчишкой диким, я испугался к гробу подойти и к матери прощально прикоснуться.

Теперь же — прикоснусь и попрошу
прощенья за мальчишескую дикость.

И вышло точно, как предупреждали:
да, крошечного гробика хватило
для тех останков, что когда-то были
черноволосой, смуглой, белозубой
красивой женщиной, с чудесною улыбкой
и слабым сердцем.

Не испытал ни ужаса, ни страха,
а только с радостным благоговеньем
я принял в руки материнский череп,
окутанный густой волной волос.

Всегда ли так случается — не знаю:
у матери за тридцать с лишком лет
подземного глухого пребывания
не потускнели волосы — как прежде
напоминая ворона крыло!

Они не стали тленом и горели
на солнце антрацитовым отливом!

«Подхоронить»... Слово не хуже прочих
среди рожденных нашим бытом слов.

Я мамин прах отсюда перенес
и к бабушке его подхоронил.

А бабушка при жизни так хотела,
когда придет ее черед, прилечь
поближе к дочери, всего милее — рядом.

Исполнилось. Они навеки вместе.

Хоть этот грех пред ними замолил.

Иные же поправить невозможно.

13

Мы сажали прутики... Пробежали дни.
Вымахали прутики — шапку урони:

в поднебесьи кружатся, пташек божьих радуя,
две березы светлые над одной оградой.

Вам пора сумерничать и уgomониться,
затихайте, звонкие чечеты, синицы.

Над погостом сумрачным, над покоем вечным
две березы светлые зажигает вечер.

Из-под камня гробового, из сырой земли
два сиянья заструились, болью изошли.

Ты зачем здесь, среди мертвых, бродишь дотемна?
Перед мертвыми, живой, в чем твоя вина?

Стой меж двух сияний, снег в горсти сминай.
Вспоминай.

Тишина. Оттепель. Снег тяжел в горсти.
Мама, прости. Бабушка, прости.

По еловым чащам
ночь бредет, слепа,
к двум свечам нетающим,
к двум негаснувшим столпам.

14

Русская птичка,
еврейский самолет,

все уезжают
на Ближний Восток.
На Ближний Восток,
на дальний свет.
Хорошо в дороге
и где нас нет.

КУДА НАС В ПОЛНОЧЬ ЗАНЕСЛО
(1995)

ТРАНЗИТ

*Р*оссия сызнова во мгле.
Мрачнеет город вечерами,
и непроглядный вид в стекле
Малевичем маячит в раме.
Дворы, проулучки черны
и небо в дымных поволоках,
и ищет, взгляд, как в дни войны,
бумажные кресты на окнах.

Снова бастуют шахтеры, и уголь нейдет на-гора.
Электростанции дышат в полвздоха.
Кровь электричества не дотекает до мелких сосудов,
тонут во мраке улицы по вечерам.
Над городами впервые с последней войны
видно становится звездное небо.

А мы забыли имя звезд!
Как будто вечны не они,
а мы, бегущие во тьме
своих заплеванных предместий,
спешащие в свои дома —
что нам небесные огни? —
не запрокинув головы
к волшебным письмам созвездий.
Где Сириус? Где грозный Марс?
Где Вега нежная? Спроси —
никто не знает, ни один,
имен раскрывшейся картины,
как в древности их знал любой
оратай Киевской Руси,
сармат, кочующий в степи,
пастух на взгорьях Палестины.
А мы забыли имя звезд.
И кажется, что навсегда.
И кажется, в отместку нам,
они забудут нас... Однако,
возможно, вновь среди них взошла
та — Вифлеемская — звезда,
но мы ее не узнаем
и не разгадываем знака.

*В*новь блаженные нищие духом
ждут, когда загорится звезда.
На старуху бывает проруха,
а в России проруха всегда.
А в России, в России, в России,
где вино выпивают до дна,
лет уж сто как меня не спросили,
мне какая Россия нужна.
А я знаю и вижу воочью,
как нам всем обрести благодать,
даже если, как этою ночью,
за окном ни черта не видать.
Подсказать, как прожить этот вечер,
эту ночь на январском ветру?
Если спросите — я вам отвечу.
А не спросите — я ведь умру.
Вы, когда не спросили живого,
то едва ли расслышите вы
шелестящее в воздухе слово
из меня произросшей травы.

Привет, необитаемые звезды!
Смотрите, это мы — большие лбы,
способные к анализу прохвосты
и попеченья вашего рабы.
Мы полагаем, вы — наш высший разум,
наставник мудрый всех земных судеб,
вас каждый смертный истово обязан
благодарить за ежедневный хлеб.
Живет потребность подаянья в нищем,
он молится на тех, кто подает,
расположенья вашего мы ищем,
с надеждой измеряя небосвод.
Но встав над миром в полночи осенней,
над стынувшей излучиной реки,
над крышами уснувших поселений —
о, как вы бесконечно далеки.
И мы для вас — лишь искорка среди прочих.
А ну как вам до нас и дела нет,
и ничего-то он нам не пророчит,
бессмысленно величественный свет?

У ад Лубянкой стоял Командор,
мертвый муж Революции старой,
продолжая привычный надзор
за толпой на краю тротуара.
Отдален от людей, одинок,
вспоминал он былую подругу.
И вращался железный венок
из машин, проходящих по кругу.
Он во имя безумной жены
мордовал и морил по подвалам,
а теперь поднадзорной страны
и людей ее не узнавал он.
И когда разомкнулся венок
и людская нахлынула пена,
разбиваясь прибоем у ног, —
он угрюмо подумал: «Измена...»
«Он стервятник, — кричали, — вампир,
хватит высить его над страною!»
К победителям в гости на пир
приглашен он петлею стальною!
Отчего не прийти, если зван?
Среди тостов и прочего вздора,
ровно в полночь, в разгар торжества,
раздадутся шаги Командора.
В очумело пирующий дом
еще явится он — не приснится.
Еще замертво мы упадем
от пожатья железной десницы.

Сгорает дневная медь
в кольце Садовом.
Заметь же меня, ответь
хоть кратким словом!
Но сух и недвижим взгляд
моей столицы,
у стылых ее громад
пусты глазницы.
Безвестный и налегке,
счастливо лишний,
слезой по ее щеке
скачусь неслышно.
Молись ее чудесам,
она не растает.
Не верит чужим слезам —
своих хватает.

П аятся забытые прахи
в пещерках зубчатой стены,
как возрастом — детские страхи,
историей оттеснены.
Подумать: вот эта табличка,
привинченная к стене,
имела и пост'и обличье,
знакомые целой стране.
Вот эта вот горстка сухая,
очков не подняв от бумаг,
лишь ненавистью полыхая,
милльоны послала в Гулаг.
Щепоть побуревшего пепла
стучала о стол кулаком,
чтоб общность советская крепла
и шла в коммунизм прямиком.
А эта угрюмая урна
не знала в труде выходных,
бывало порою и дурно
ей после допросов ночных.
Но вновь веселела, хлестая
любимый армянский коньяк,
и что она урною станет —
не верила просто никак.

*В*чера в полночный час на Карла Либкнехта
угробил свердловчанин свердловчанина.
И свердловчанку в полдень у подъезда
ограбили на улице Партсъезда.
И у пенсионерки-свердловчанки
украли кошелек в универсаме.

Сегодня земляка на Вознесенском
угробил ночью екатеринбуржец.
И екатеринбуржку у подъезда
раздели в полдень на Архиерейской.
И у старушки екатеринбургской
в торговом доме стибрен кошелек.

*В*новь город Якова стал бург Екатерины.
Чугунный Яков счастья не принес.
Но есть ли смысл устроить именины
и пировать на радостях? Вопрос.
Пусть неофит истории воззрится
на город сей и честный даст ответ:
да он ли это, с именем царицы —
изготовитель пушек и ракет?
Или угодно нам принять на веру,
что это он: облупленный фасад
«Американских номеров», к примеру,
где Чехов жил сто лет тому назад?
Мы, всей душой вняв искренним протестам,
гостиницу, возможно, сохраним.
Но где взять Чехова,
чтоб побывал проездом
на остров Сахалин?

ДОМ ИПАТЬЕВА

Инженер-строитель Ипатьев
вел стальные пути на Урал,
говорят, был горяч,
от него доставалось немало:
он дневал-ночевал в тайге,
на рабочих орал,
но за ним оставались мосты,
виадуки, вокзалы.

Инженер-строитель Ипатьев
заработал богатство трудом
и участок чудесный сумел
приобрести он в уездной столице.
На горе Вознесенской
с любовью и тщанием поставил он дом
и заслуженно было тем домом добротным
гордиться.

Как приятственно было вернуться
из дикой тайги
к свету теплых окон
и семьею собраться в столовой:
самовар и закуска,
прислуга несет пироги,
и покой охранен
над дверями прибитой подковой.

Но семнадцатый год с рельс слетел
в повороте крутом,
и народ был объявлен
хозяином дома отныне.
Инженер-строитель Ипатьев
покинул свой дом
и уехал и дни доживал на чужбине.

И когда он узнал,
что арестом для царской семьи
стал его славный дом — с возмущением вместе
строитель
всей душою смятенной поздравил хоромы свои
с тем, что стали они государю
— приют и обитель.

А когда он узнал
о забрызганной кровью стене,
почернел,
на неделю замолк от немыслимой вести,
и он проклял свой дом,
а себя, инженера, вдвойне:
что возвел столь заметный
и что не взорвал при отъезде.

Стоит в поле теремок,
он не низок, не высок.
— Кто-кто в теремочке живет,
кто-кто в невысоком живет?
— Я полянин. А вы кто?
— Я словенин. Я радимич.
— Заходите, будем братья,
будем здесь все вместе жить.
— Кто-кто в теремочке живет?
— Я полянин. Я словенин.
Я радимич. А вы кто?
— Кривич я. Вятич я.
— Заходите, будем братья
будем жить да поживать,
себя русичами звать.
— Кто-кто в теремочке живет?
— Русич я. Вы кто такие?
— Здравствуй, русич. Я сармат.
Я кипчак. А я монгол.
Мы здесь тоже будем жить.
— Здравствуй, русский! Я тевтон.
Я литва. А я поляк.
Мы здесь тоже будем жить.
— Здравствуй, чудь, остяк, мордва,
и татарин, и башкир,
ненец, манси, хант, эвенк,
юкагир, бурят, якут,

удэге,
ульчи и нивх,
Здравствуй, чукча! Русский я.
Я здесь тоже буду жить.

.

Стоит в поле теремок,
он не низок, не высок.
Кто-кто в теремочке живет,
кто-кто в невысоком живет?

С плетенье народов российских равнин,
азиатских степей,
продуло ветрами кустарник, татарник,
в верблюжью колючку вцепился репей.

Колючка, трава-кучерявка, репейное семя —
от изб и конюшен
до юрт и овечьих кошар
все схвачены всеми,
растет, громоздится воздушный рокошущий шар.

Колючий — его не разлепишь без боли,
горючий — господь упаси от огня...
Катись, ветровое плетенье, в бескрайнее поле,
неси и меня.

НОВЫЙ ГОД В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ

Ложка ныряет в багровые воды борща
и повторяет: «Жить хорошо сообща!»
С нею в согласии хлупает в общем клозете вода:
«Не расставайтесь, друзья, никогда!»
Проковылял вдоль стены сиволапый сосед,
вслед ему звякнул подвешенный велосипед:
«Ну-ка, дружнее на общую жмите педаль,
к чертовой матери вместе катитесь в светлую даль!»
И вырывается из керовгазов и примусов
к дружбе, любви и единству пламенный зов.
Ну, выходите скорей из скрипучих дверей,
семеро русских, татарин, удмурт и еврей,
грузчик, скрипач, инженер, сторожика, швея,
врач, продавщица, буфетчица, слесарь — семья,
племя, коммуна, великий советский народ
победоносно шагает вперед и вперед,
новою общностью, дружной толпой, гуртом,
в общую кухню — тесниться за общим столом.
Борщ от буфетчицы и от швеи винегрет,
спирт от врача, а где раздобыл, не секрет.
Слесарь — бутылку, жена скрипача — холодец,
а продавщица — пирог, да с брусникой, ну, молодец!
Бьются с германцами в Польше наши войска.
С Новым вас всех, с сорок пятым, победа близка!
Копоть мохнатая нежно свисает в углу.
Пьет за победу усталое племя в глубоком тылу.

Тот, кто умеет — поет, не умеет — хрипит:
«Темная ночь, только пули свистят по степи...»
Елка со звездочкой, свежая пахнет хвоей...
Вы мне приснились: племя, коммуна, семья?

*М*ладенец, везомый на финских санях
с высокою спинкой, полозья скрипучи,
сидит неподвижно в застёжках, в ремнях,
следя за падением снега из тучи.

Дымится поземка, как жидкий азот.
Так Хаос клубился, предшествуя Гее.
Кто в спину толкает, кто сани везет,
впоследствии вспомнить дитя не сумеет.

Присутствует он при рождении Земли!
Игольчатой стужей румянец даруя,
по самые брови его замели
небесные нежные снежные струи.

Мельканием зренье ему утомив,
снежинки навеяли сон. Через годы
к нему возвратится заснеженный миф,
клубящийся миг первозданной природы

ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ

Повесть о детстве пишу двенадцатый год уже, осмеянный критиками босоногий сюжет.

От сопоставления некуда деться:
длятся труды мои дольше,
чем длилось само наше детство
послевоенное, в драках, в бараках. В окно
ночью глядела округа, малость бандитская.
Да, босоное.
Нет, не без обуви, но
в лужах топтаться, глину меж пальцами тиская —
более чувственных я наслаждений не помню,
разве что раз в зоопарке катался на пони,
в тряской тележке, под звяканье колокольчика,
а на скамейке напротив в розовом платице Олечка,
и за способность влюбляться в воздушные платица
мне через годы и годы сторицей заплатится.

Повесть о детстве двенадцатый год пишу
с перерывами
на рецензии, шутки и прочий прокорм
и возвращаюсь, как катер подбитый, проливами
к базе родной, береговым батареям наперекор.
От прохиндеев, чьи так пресветлы имиджи,
от телевизиорных рож,
разоблачающих лозунги,
сочиненные в оное время ими же,

от несчастно правдивых газет, чьи полосыньки
понабухли кровью,
от Сухуми, Чечни,
от таджикской и карабахской резни,
от швыряемого из журналов в журналы навоза,
от демократов, залезших в броню членовозов
вместо членов Политбюро —

убегаю в детство,
забиваюсь в его нутро,
греюсь у печки,
где сгорают деревянные человечки.
Провожают их окна слезой ледяною,
я вдыхаю угара и сырости помесь,
а живая бабушка бредит войною,
отобравшей сына.

Ох, никогда эту повесть
не закончу,
не потому что плохо даются пейзажи и лица,
а потому что финал никак не найду,
потому что детство должно было закруглиться
на двенадцатом, ну, на тринадцатом году,
а у меня оно длится и длится.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРАХА

*М*ихайловское кладбище решили закрыть и парком сделать городским. Ему лет полтора. Здесь лежат весьма высокородные дворяне, но также и мещане и купцы. А далее — советский обыватель. Все больше пролетарии, но есть профессора и видные партийцы. В одном углу — умершие от ран в госпиталях военных лет. В другом — достойно погребен Аркадий Коц, поэт довольно скромных дарований, но перевел «Интернационал».

Здесь летом так тенисты тополя!
Все заросло крапивой, бузиной,
в часовне склад и в церкви тоже склад.
Убогость, запустенье. На могилах
бутылок бой, объедки. Но прибраться
и выломать ограды и кресты
и холмики сравнять заподлицо —
прекрасный будет парк.
Аллеи, павильоны, дискотека...
Здесь будет дискотека? Я не знаю.
Но знаю: на костях плясать умеем и вдоволь
наплясались мы на них.

С тех пор, как появились объявления
о будущности этих скорбных мест
и к ним — рекомендация всем близким
перенести покойников своих,
прошло уже лет десять. Как ни странно,
но многие лежат, где и лежали.
Нет близких? Или есть, но не страшатся
и, зная, что такое наши планы,
ничуть не верят в преобразование
погоста в парк? Бог им судья. Но я
не пожелал, чтоб музыка гремела над мамою моею.

Мне объяснили, что за тридцать лет
такие происходят превращения,
что будет для оставшегося праха
достаточен обычный детский гробик.
«Обычный» — так советчики сказали.
Я так и сделал — детский приобрел.

Мне также предрекли, что созерцанья
разрытия могилы материнской
я, будучи нормальным человеком,
не вынесу, и следует просить
о помощи кого-то из друзей.
Но этому совету я не внял —
не чувствуя ни ужаса, ни страха
в предвиденьи мгновения, когда
передо мной разверзнется могила
и я увижу, что уж там осталось
за тридцать лет от матери моей.
Наоборот! Тогда, мальчишкой диким,
я испугался к гробу подойти

и к матери прощально прикоснуться.
Теперь же — прикоснусь и попрошу
прощенья за мальчишескую дикость.

И вышло точно, как предупреждали:
да, крошечного гробика хватило
для тех останков, что когда-то были
черноволосой, смуглой, белозубой
красивой женщиной, с чудесною улыбкой
и слабым сердцем.

Не испытав ни ужаса, ни страха,
а только с радостным благоговеньем
я принял в руки материнский череп,
окутанный густой волной волос.

Всегда ли так случается — не знаю:
у матери за тридцать с лишком лет
подземного глухого пребывания
не потускнели волосы — как прежде
напоминая ворона крыло!

Они не стали тленом и горели
на солнце антрацитовым отливом!

«Подхоронить»... Слово не хуже прочих
среди рожденных нашим бытом слов.

Я мамин прах отсюда перенес
и к бабушке его подхоронил.

А бабушка при жизни так хотела,
когда придет ее черед, прилечь
поближе к дочери, всего милее — рядом.

Исполнилось. Они навеки вместе.
Хоть этот грех пред ними замолил.
Иные же поправить невозможно.

*М*амин веер, розовое дерево,
развернул его полукольцо,
и вернулось прошлое, повеяло
молодостью маминой в лицо.
Сто эпох минуло и развеяно,
сотня прочных рухнула громад...
В тонких дранках розового дерева
чудом удержался аромат.
Нежный, беззащитный, слабо веющий,
неподвластный никаким годам...
Час придет, и я рукой стареющей
мамин веер дочке передам.

Из подземных истоков древесная льется
река
и волокна текут и текут в небеса,
в облака.
Но сплетается узел, рождается ветвь
из узла,
и течение ее сильнее течения ствола.
На изломе полена, прежде чем сунуть
в печь,
погляди, как волокна послушно обходят
сучок,
и не смыть его, не захлестнуть —
обойти лишь, обтечь:
так обходят в мыслях давнишний позор
свой.
Молчок!

Так, на почве младенчества произрастающий
ствол
обтекает волнами памяти (памятью волн?)
то, что в струях продольных торчит
поперек судьбы,
потаенный позор не дай бог не задеть дабы.

Сколь приятна обратному взору
текущая с детства река,

согласованность струй
и неспешный поток волокон,
но торчит поперечина,
саднит заноза сучка,
топором не разрубишь,
одно остается — в огонь.

Что сплелось, проросло поперек
в шестьдесят каком-то году,
наконец-то рассыпалось в прах
на печном поду.
Топором не разрубишь и клином не выбьешь,
о том и речь:
можно только со всею памятью вместе сжечь.

И а памяти моей из жизни городской
исчезли эпохальные явления:
галoши. Патефон. Походы за мукой...
И транспорт гужевой уходит на покой.
И гаснет дровяное отопленье.

Прощайте, отпылавшие поленья,
сквозь топку прошумевшие леса.
Вы подрастали на больших просторах,
вдыхая свежесть северных небес
и сами эту свежесть источая.
Понять ли нам: безропотно, покорно
или в беззвучном крике содрогаясь,
вы прошагали скорбную дорогу
безжалостных и грубых превращений
детей природы в уголь и золу?
Проплыли здесь березовые рощи,
сосновый бор прошел суровым строем
и пробежали грустные осины
с привычной дрожью в трепетных ветвях.
Когда морозным утром неподвижным
из сотен труб вздымаются дымы —
не строй ли это призрачных стволов,
как если бы исчезнувшие рощи
каким-то чудом снова проросли?
Простите нас, погибшие деревья.
Все сущее на матушке Земле
стоит на вашем жертвенном тепле.

С нега дворов — страницы дневника:
сражение за углом дровяника.
Велит до первой крови биться двор,
и не дай бог нарушить уговор.
И побежденный, снег в горсти сжимая
и слезы с юшкой пополам глотая,
в молчании товарищей стоит.
И кто из нас не помнит этот стыд?

Крепчал мороз, палачески суров,
и капала, и впитывалась кровь
в белейший снег, истоптанный пимами...
Столбы дымов над низкими домами,
и чей-то смех, и обагренный снег —
тогда казалось, что вражда навек,
отныне жизнь пройдет под знаком мести.
Глядишь, на завтра вновь играли вместе.

Обиды детства очень хороши
для общего развития души.

Тридцать лет с той поры, как убил...
Подожди: тридцать... лет?
Здесь двусмыслица:
надо прибавить и прочих по тридцать —
тридцать осеней, весен и зим.
Как в берлоге, дремали зимой наши предки
и лишь по летам свои годы считали?
Переняли привычку и мы?

Ну, итак.
Тридцать лет, тридцать осеней, весен и зим
с той поры, как убил...
Человека? Привязанность? Веру?
Чью-то преданность, столь неотвязную, что
невозможность ответить на равных
мрачнела в крови
и теснила дыхание?
Юность — убийственный возраст.

Тридцать лет, как убил, где же суд, приговор?
Тридцать лет проживаю, и жив,
и порою весьма оживлен я.
(Здесь двусмыслица: «Я оживлен» —
то есть весел, болтлив,
но сравните: «О чудо!
Усилиями медиков был сей мертвец оживлен!»)

Убивая, всегда получаешь убитого,
или убитую, или убитое.

(Здесь двусмыслица:
горем убитый отнюдь не убит, а живой.)

Убивая, всегда предаешь.

(Здесь двусмыслица: мертвых земле предают,
а живые способны предать землю, полную мертвых.)

О великий, могучий и слишком богатый язык!
По два смысла ложатся на каждое слово, и в слове
то граненой решеткою умственный образ встает,
то лепечет ручьем и бормочет
чувствительный ум.

А убийство случилось зимой,
что же годы считать по летам?

Ты продремывай, память,
три четверти каждого года,
лишь с приходом морозов
лишайся покоя и сна,
лишь когда сизоватые тучи замкнут оком
и сухая крупа застучит в ледяной тротуар до утра
и напомним...

Рой двусмыслиц:

убитые горем
убитых бредут навестить
по убитой ногами тропе.

Мертвый предан земле
и земле этой предан живой.

По два смысла ложатся на каждое слово
и в нем цепенеют.

Сквозь решетку не льется замерзший ручей
сколько лет, сколько зим?

Есть в юбилеях чудо примиренья,
влюбленности загадочный недуг,
целуя, друг дойдет до исступленья,
но враг целует яростней, чем друг.

Ты слышишь: сладким звуком мадригала
тебе поет, который бы мечтал
на самом деле — выколоть моргала
тебе! Но — напевает мадригал.

Да ты и сам с надеждою большою
забыть свои позорные дела,
желаешь нынче посветлеть душою
и спяну веришь, что она светла.

Предав одних, убив других, боля
душевною болезнью убийц —
тоской собачьей, вечер юбилея
прими спасеньем, ободрись, врубись:

твой давний грех невидим и не страшен,
и струи поздравительных речей —
как теплый свет в ночи с кремлевских башен,
ласкающий могилы палачей.

Чем держатся за жизнь, во что вцепились дети?
За волосы земли, за травы и цветы
схватились и летят, одни на белом свете,
и сами для себя источники мечты.

Они не знают букв, им непонятны числа,
и не боятся дня, зато боятся тьмы,
им виден смысл всего, в чем мы не видим смысла,
и видят там второй, где только первый — мы.

Но время — времена — их к вечности ревнуя,
выращивает их, ревнуя и любя...
Взрослеющей толпой встают на твердь земную
очередные мы, забывшие себя.

И лишь один, один летит по белу свету,
вцепившись, лишь один, в охапку трав степных,
и видит третий смысл там, где в помине нету
и первого уже для остальных.

Есть на свете река Ориноко,
одинокая очень река.
Одинока она, одинока,
от других она рек далека.

Полноводна и трудолюбива —
отчего ж одинока она?
Может, слишком она молчалива,
может быть, чересчур холодна.

Она вся, от истока до устья,
с детских лет до последней волны,
сверху легкой подернута грустью,
в глубине все печали видны.

И ночами ей снится и снится:
есть на свете другая река.
Вот бы встретиться им, вот бы слиться,
разомкнуть и сомкнуть берега.

Но проснется — и некуда деться:
одинок ее заданный путь.
Лишь под старость впадает, как в детство,
в океан, чтобы в нем утонуть.

Я прокричал тебе: «Привет!»
и бросился наперерез,
чтоб ощутить пожатие рук.
Но ты мелькнул в толпе, исчез.
Ты не узнал меня, мой друг.
Но, правда, через тридцать лет.

Я знаю: изменился я.
Да, тридцать лет сплошных забот,
дурной работы задарма,
боязни всяческих невзгод,
покорной лжи, хлопот зазря
нас изменяют и весьма.

Но обернись! Ведь это я,
твой лучший друг далеких дней!
Пусть годы выплывут из тьмы:
а помнишь, ты... а помнишь, я...
а помнишь, как... а помнишь, мы...
Ну, вспоминай же поскорей!

Ну, обернись! Узнай меня!
Скажи баском: «Здоров, старик!»,
как ты говаривал тогда.
И мы с тобой, на краткий миг
помолодев средь бела дня,
вернемся в прежние года.

Я прокричал тебе: «Привет!»,
а ты проходишь мимо вдруг.
Ты не узнал меня в упор.
Я понимаю: тридцать лет.
Третий века... Что за разговор...
А все же горько, старый друг.

Т де та черта, рубеж, обрыв,
когда повеяло пропажей,
когда ты, новостью побыв,
быть ею перестал — когда же?

Однажды вышел со двора,
переступил — и не заметил.
Какие жесткие ветра...
Как быстро подрастают дети...

Какие важные дела
на службе ждут. Какое дело,
что жизнь идет, уже прошла,
а поглядеть, так пролетела.

Холодный розовый рассвет
встает, в оттенке аметиста.
Где было слово — снова нет
ни слова на странице чистой.

Я форточку открыл —
и ворвался апрель
трещаньем птичьих крыл,
скрипением дверей.

Я створку потянул —
и, воздух шевеля,
вкатился сытый гул
июльского шмеля.

Я распахнул окно:
но там, где шмель гудел —
там снег летел давно,
беззвучно снег летел.

Я, впрочем, за окном
иного и не ждал.
Сам виноват я в том,
что малость опоздал.

Но так стоять смешно...
Что ж, надо зимовать.
А по весне окно
смелее открывать.

Переулков обморок глубокий.
Белолобые дома.
Разрешившись бременем до срока,
обескровела зима.

Обомлелая, залубенелая,
в струпьях ледяных корост.
Бельма пустырей стеклянно-белые,
пузырьками в голове наркоз.

Потерпи, зима.
Настанет срок.
Дунет мартовский нашатырек
в ноздри снега,
в переулке тихом,
в сморщенные перед чихом.

И агие истины, восстаньте!
Я виноват, я позабыл,
в какой строке, в каком диктанте
ваш дерзкий смысл меня знобил.

Любовь и слава... Мирозданье...
Росли громадные слова,
как из тумана в океане
перед Колумбом острова.

Любовь и славу напророча,
лететь ночами в пустоту,
чтоб целовать пространство ночи
в его Полярную звезду!

Но, ускользнувши от объятий,
в зенит отпрыгнула звезда...
Слов стало больше, чем понятий,
а истин мало, как всегда.

Но если вы, как прежде правы —
восстаньте, докажите вновь:
безвестность не позорней славы
и гнев не слаще, чем любовь.

*Р*ука в широком рукаве
тонка. И нежный профиль тонок.
Она проходит по траве,
минуя тропки, как ребенок.

В саду, заросшем бузиной,
вечерний свет, как в детстве, ласков.
Сидит художник — к нам спиной,
и портит холст небрежной краской.

Возможно, гостью вызвал он
лишь как натуру для портрета,
а может, до смерти влюблен
и тщательно скрывает это.

Она на кончике носка
плывет через поляну к дому,
как наша вечная тоска
по юному, по молодому.

Я воздух марта целовал,
свинцовый край большого неба...
Кто был чужим — своим не стал.
Кто был своим — своим как не был.

Высокий светоч на столбе
горел, от стужи скособочась,
и сколько лиц прошло в толпе,
в ней ровно столько одиночеств.

Плечом к плечу — никто ничей...
Нам вслед поземка завывала,
взмывала в конусе лучей,
метельный занавес взвивала.

И переливы кисеи
нашепывали, ворожили:
«Еще опомнятся свои...
Еще обнимутся чужие...».

*П*ы зря вернулся, блудный сын,
не доблудив, не доблуждав,
вернулся нищим и босым,
родных целуя горечь трав.
Тебя не пустим, ты забыт,
твое отсутствие в дому
нам, здесь оставшимся, велит
тебя не помнить, потому
что если все покинут дом,
то в мире воцарится блуд...
А если мы тебя вернем,
то глупо оставаться тут.

*П*ространство — то, что простирается,
насколько может видеть глаз,
и в нем так просто потеряется,
чуть отдалясь, любой из нас.

Но даль влечет, и не без робости
мы примеряем первый шаг —
так тянет вниз у края пропасти,
так манит в заросли овраг,

так у порога неизвестности
перед лицом крошечной тьмы,
хоть веет ужасом от местности,
к нему-то и стремимся мы.

Ослепший мой товарищ, он новый мир слепил
из слуха, осязания и острого чутья,
из ароматов кухни и гладкости перил,
из лепета ребенка и клекота ручья.

Он ранее не ведал, как рубчат и шершав
рукав его рубашки, сколь хрупок слой стекла
и как прохладен кафель и тепел старый шкаф,
и как надежна твердость дубового стола.

Он ранее не слышал, как оркестрован дождь,
и сколько нежных ноток у цвирканья синиц,
и как неожиданно резок звонок, хотя и ждешь,
и сколь уютно пенье, скрипенье половиц.

Обзавестись однажды сумою и тюрьмой —
никто не зарекайся. Полна его сума
взамен пропавших зрелищ озвученною тьмой
и до последней щелки общупана тюрьма.

На отдаленной крыше прогромыхала жесть...
Мир, сотканный из мрака, где ночью ночь и днем.
Нам путь в него заказан и не дай бог обречь,
а он в нем вечный пленник и повелитель в нем.

*П*еплынь, я вышел нараспах,
и без шарфа и без перчаток...
Опередив меня, впотьмах
вьет тропку смутный отпечаток.

Ночной гуляка с кем-то пил,
а после брел походкой шаткой,
и снегопад ему лепил
горб на спине, шишак над шапкой.

Хмельной дурак ушел во тьму,
в завесах круговой метели
исчез, и я вослед ему
иду-бреду без всякой цели.

Блужданья наши в снегопад,
сквозь полугодовые зимы...
Мечтанья, мысли невпаад
словесностью невыразимы.

Полночный бред больной страны
и утреннее исцеленье
таинственно сопряжены,
как снежных звездочек сцепленье.

Идет счастливый человек,
очищен от вчерашней скверны.

Остановись, обильный снег,
твои усилия чрезмерны.

Откройся, даль, на три версты
картиной света и покоя,
а три снежинки, три звезды
останьтесь над моей строкою.

И снова снегопад
и чистая зима,
и веселей глядят
унылые дома.

И птичья кутерьма
на ветках бузины,
и радостная тьма
в глазах от белизны!

В глубокий снег залез
лохматый белый пес,
нырнул и вдруг исчез,
лишь виден черный нос.

Стоит разинув рот
младенец, изумлен:
в ладошку снег берет
впервые в жизни он.

А старый человек,
прошедший мимо нас,
глядит на первый снег
в последний, может, раз.

Б ыли мы юными,
бегали дюнами,
стали мы взрослыми,
сели под соснами.
Кончимся, ляжем
здесь же, под пляжем.
Дети, играйте в песочке,
смело вонзайте совочки.
Бегайте и кричите
тонкими голосками.
Пяточки ваши босые
будем мы слушать веками.

М туманом заполнена с краем
широкая чаша залива,
и мы то надежду теряем
на солнце,
то ждем терпеливо.

Туманы на крышах повисли,
на соснах, песчаных откосах...
Приходят туманные мысли
в обличье туманных вопросов.

Туман как погода эпохи,
туман как метафора века,
туманны сужденья о божестве,
туманна и суть человека.

Туманны отдельные даты —
дни смерти у тысяч и тысяч.
Когда это было? Когда-то.
Но что же на камне нам высечь?

Туманом заполнена чаша
залива, до края налита.
В тумане и прошлое наше,
и в нем наша будущность скрыта,

и день проходящий — в тумане...
Где море? Где небо? Где берег?
Что солнце вот-вот и проглянет —
как верить? Никто и не верит.

*П*уманами море укрыто,
как полное пара корыто,
готовое к длительной стирке,
к усердному тренью до дырки.

Мы руки к нему простираем.
А что мы сегодня стираем?
Мы память свою постираем
и в ней кое-что постираем.

Сотрем в биографии пятна,
мы выглядим в них неопратно,
пройдемся по ней всеохватно,
уж лучше пусть дыры, чем пятна.

А сальные крапины быта,
как брызги супов общепита?
А потные полосы страха?
Как ими пропахла рубаха!

И ворот затерт безобразно:
как видно, бывали соблазны,
и шея послушно вертелась,
как это кому-то хотелось.

Какие мы были грязнули!
Но дочиста все простирнули.

Что было — теперь шито-крыто,
и только осталось корыто.

Корыто укрыто в тумане,
который рассеется вскоре...
И — полный запрет на купанье
ввиду состояния моря.

Под ногами таял асфальт,
солнце радужно било, пестро,
Мичман Павлик, гурзуфская шваль,
продавал павлинье перо.

Синий глаз, золотой ободок,
траур, прозелень, голубизна...
— Отдаю по дешевке, браток...
за один... нет, за два стакана.

Я поставил два стакана,
и мы выпили их до дна.
И еще по два стакана
я принес ледяного вина.

А потом приволок я графин,
он объемом нам взоры ласкал,
как осколок северных льдин,
он потел и на солнце сверкал.

Была радуга в каждую грань,
плыл в стаканы хмелящий дым,
Мичман Павлик, гурзуфская пьянь,
стал, как наше перо, золотым.

А перо я воткнул в графин,
и смотрел в меня синий глаз,

как смотрел бы живой павлин;
и манил, как пещерный лаз...

Я вошел в золотой ободок
и упал в синеватую тьму,
и пещерный сквозняк-холодок
по лицу пробежал моему.

Приближался мерцающий грот,
исполинский сиял абажур...
Поворот и еще поворот...
Что увидел, я вам не скажу.

Потому что для зрелищ таких
наше зрение не рождено,
помогает ему лишь на миг
в знойный день ледяное вино.

Что увидел — случится со мной.
И со всеми. Не знаю, когда.
Страшной сказкою неземной
зацветут по Земле города.

Человечья изменится суть.
Мы уйдем по большому лучу.
И пространства обвеют нам грудь,
а внутри нее... Стоп. Молчу.

Путру разбудили друзья.
Что-то я их не сразу узнал.
— Где набрался, отец?! Так ни-зя...
— Я... павлинье перо обмывал.

*В*олна о камень взорвалась...
Была жара — пришла прохлада.
А ты мне спой в последний раз,
мне голос твой запомнить надо.

Он мне напомним, как я жил
полмесяца лихим бродягой
и час рассветный сторожил
под древней тенью Аю-Дага,

над погибающей волной,
несущей новую во чреве...
Цыганский голос кочевой,
кочуй, кочуй ко мне на север!

*В*стречать рассвет, зевая, ежась:
какой у моря скучный вид,
когда предутренняя свежесть
порывом ветра отрезвит.

Что ночью было тайной, чудом,
захватывало в сладкий плен,
таскает мокрой гальки груды
под рокотанье тяжких пен.

Где, как алмазы и топазы,
огни мигали вперебой,
там, тарахтя, буксир чумазий
баржу волочит за собой.

Рассветный ветер отрезвляет:
и даль светла, и жизнь видна,
вторая молодость бывает,
но старость будет лишь одна.

И жизнь видна, и даль светла,
она все ярче и бездонней,
а чаша моря так мала,
что вся уместится в ладони.

Я сажаю картошку
в пухлый аятский торфяник,
где нарезаны земли творческой бедноте.
Пью холодный чай и жую подзасохший пряник
под березой, светящейся в темноте.

В черной глуби дренажных канав
проплывают ондатры,
вьются юркие ящерицы
в дебрях болотной травы.
С косогора доносятся крики:
там местные бродят Кондраты,
безусловно поддаты
и в том безусловно правы.

Пирамиды росли,
воздвигались и рушились храмы,
Кир губил Вавилон,
Александр Согдиану искал,
здесь, в рифейских горах,
на краю мировой панорамы,
зацветало болото
в распадке меж каменных скал.

Где-то стрелы метали
в войска македонца парфяне,
тяжелило их золото трюмы его кораблей,

здесь тучнел, набирая пласты за пластами,
торфяник,
пращур нынешней ящери
рыскал средь жестких стеблей.
Пробил час!
Начинаем создание культурного слоя.
Хочешь выжить, творец?
Так езжай — пропитанье сажай.
Не Венеры, не вазы,
не кубков сиянье златое,
но настанет сентябрь
— и созреет здесь наш урожай:

будет дождь барабанить
по фартукам толевых кровель,
лупоглазый картофель
сверкнет из разъятых глубин,
древнеримский герой толстоносый
так выглядел в профиль,
обожаем за вид деревенский
и плебсом любим.

Выше Баховых фуг
и покрепче трагедий Софокла
будет чувство,
с каким из гряды извлекаемы вдруг,
как помазанный кровью божок,
краснорожая свекла,
крутобокою скифскою чашей
подвыперший лук.

Я стою, прислонившись к березе,
приникши к лопате.

С косогора к реке уползает поселок Аять.
Я форпостом культуры
нисполан стоять на Аяти
и на том я стою
и на том и останусь стоять.

В трех шагах от порога паркет
с неуместною силой скрипел,
и портрет — неизвестный поэт —
мне вослед с укоризной глядел.

Здесь писательский славный союз
проживал, заседал, обсуждал...
Я иду и боюсь. Я боюсь
и иду, и пришел, и пристал...

Здесь, отведав чуть-чуть коньяку,
учреждал неназойливый шум,
чью-нибудь защищая строку,
Николай Алексеич Куштум.

«Он — поэт? — вопрошали. — Как так?»
Да, смущал его облик простой.
Но имел потаенный контакт
он с поэзией и с красотой.

Был он в молодости — орел!
И стихи его знал Урал...

Здесь я милых друзей приобрел,
а теперь я их всех потерял.
Первый — другом мне быть расхотел.
Бог его, я надеюсь, простит.

А второй улетел, улетел,
может, все еще где-то летит.

Третий друг мой прилег под сосной,
где Широкая речка течет.
Впрочем, речки там нет никакой,
но лежать там — известный почет.

Третий друг в этом доме гремел,
угрожал нам всемирной бедой,
как никто, потрясать он умел
и поэмами, и бородой.

В шестьдесят так примерно втором
собирались за круглым столом
и горячий вели разговор,
были гении, как наподбор.

А к поэзии в эти года
наблюдался большой интерес.
Нам хватало поэтов тогда,
не хватало, увы, поэтесс.

Приходила, как помню, одна.
Проплыла — и не скрипнул паркет.
Что читала, не помню, она.
И читала ли? Может, и нет.

Но глаза! Но плечо! Но рука
теребила жемчужную нить!
Загрустили поэты слегка,
лишь они так умеют грустить...

В шестьдесят так примерно втором
собирались за круглым столом.
Обходить не умели углы,
были споры у нас не круглы.

Обижали друг друга до слез,
и дружили при этом — всерьез.
И с надеждой глядел нам вослед
никому не известный поэт.

Памяти И.И.Тарабукина

У ходят сатирики, вдоволь они пошутили,
порой в грубоватом,
порою в изысканном стиле,
порою обдуманно, а иногда — без системы,
порой безмятежно, порой — на опасные темы.
В застольях с друзьями,
в собраньях, во время доклада,
в цехах, общежитьях
и в клубах любого разряда.
О если б вы знали,
товарищ, смеющийся в зале,
вот вы, на которого даже напала икота,
в каких обстоятельствах
шутку для вас создавали,
какая свирепая, в сущности, эта работа.
Сатирик угрюм,
но сатирик не терпит истерик,
спокойно, старательно
строит забавную фразу.
Сатирик — историк,
и он открыватель Америк,
закрытых по лености, глупости или приказу.
Качели судьбы, вы немало его покачали,
а лучшие шутки идут от великой печали,
меж болью и болью,
в коротком, как вздох, промежутке,
они и рождаются, самые лучшие шутки.

И, право, не жалко, когда,
растворяясь в народе,
слывут они там безымянными, общими, вроде.
И всем,
для кого его шутка сверкнула лукаво —
простим им неведение
столь простодушного нрава.
Уходит сатирик, а шутки его остаются.
Вот это и главное:
люди, как прежде, смеются.

О т главной аллеи в девятом ряду,
над камнем рябина.
Наш друг похоронен в таком-то году.
Глядит ястребино.

С горбиною нос, борода и очки,
зрачки под очками
пронзают живых, как живые почти,
лишь врезаны в камень.

Мы раньше встречались под это число,
не видясь по году.
Сюда нас какою-то силой несло
в любую погоду.

Весна за весною, и каждой весной
привычная тропка.
К подножью покойному — ломоть ржаной
и полная стопка.

Под стопку припомнить и нам надлежит
метанья, исканья...
Здесь молодость наша под камнем лежит
и смотрит из камня.

К закатному часу мы шли на помин,
легки на помине.

А нынче из нас не пришел ни один
к знакомой рябине.

Без нас погружался в густеющий мрак
закат, розовея.

Забыли? Забыли. Так вот оно как
вершится, забвенье.

Упрямство забвенья, насильно скорбя,
не переупрямить.

Забыли его и не помним себя.

Не вечная память.

Жил да был писатель славный,
своенравный сочинитель,
он и летом и зимой
путешествовал на воле.
Вдруг, застигнутый семьей,
оказался на приколе.

Он одной рукой качал
народившуюся дочку,
а другой рукой махал
пролетающим самолетам
и подолгу он глядел
в исчезающую точку,
за которой влекся хвост,
изрыгаемый мотором.

Под мохнатой снежной тучей
вез в колясочке скрипучей
сероглазое дитя.
Раскраснелся от мороза,
по-картофельному розов
лик ребенка. И, свистя,
пролетал транзитный ветер
из Финляндии в Сибирь;
с юга, пряный, как имбирь,
прянул вихорь Индостана —
направляясь к берегам

ледяного океана,
жарко дунул по ногам;
встречь пришел туманный вздох
тундры — он летел согреться
в благодатный Индостан.

Три транзитных ветра в сшибке
полоскали кожу зыбки,
волновались, волховали
с подношением даров —
стуж, туманов, снежной сечки;
парусинила коляска
и дремала сероглазка
и цвела румяной розой
на скрещении ветров.

Шли и шли ветра транзитом,
как, минуя полустанок,
скоростные поезда.
Воля вольная летела
мимо, мимо... Подхвати!
Брел по снегу сочинитель,
гулко кашляя простудно.
Заблудившееся судно
парка хлябало в снегах.

Сплошняком смыкались тучи,
снег летучий грозно реял,
и внезапно разверзалась
тыщевеерстная дыра,
в направлении востока
в ней светилась одиноко

синеватая звезда.
А колесико визжало,
проезжая поворот
из аллеи и в аллею.
«Не зову и не жалею...» —
он шептал. Дитя лежало
неподвижное, как бог.

ПРОГУЛКА

ПОЭМА

Бездельник пополудни встал.
Подобием застывшей мысли
над городом дымы повисли.
Дождь прошуршал и перестал.
Бездельник замер у окна,
страдая длительной зевотой...
Подруга тайная одна
над ним склоняется с заботой...
И он, минуя дворик тесный,
в простор выходит городской
со спутницею бестелесной —
своею верною тоской.
Он, как невесту, с торжеством
ведет спокойную подругу,
держа на сгибе локтевом
ее податливую руку.
Они знакомы так давно,
ни слов, ни взглядов им не надо.
Как самодельное вино,
горчит сентябрьская прохлада.
Прекрасны наши города,
когда на каждом перекрестке
плодами летнего труда
торгуют будки и киоски.
Картошки стук. Капусты хруст.
А взгляд тоски так чист и пуст...
Но не дай бог в зрачки ей глянуть!

Остры, как кованая медь,
они душе прикажут вянуть,
уничжаться и мрачнеть.
Где ни пройдет его подруга —
там воцаряется она.
Ей глядя вслед, пришельца с юга
душа бедой уязвлена:
«Зачем на мне костюм в полоску
и кепка в крупном козырьке,
зачем хожу по перекрестку
с бордовой розою в руке?
Я стал умелым спекулянтом,
к перепродаже пригвожден,
а вдруг я был большим талантом
родною мамою рожден?
Я научился торговать,
а мог бы петь и рисовать...»

Ей вслед затравлено взирая,
тоскуют улица и дом.
Пронзен насквозь, вагон трамвая
влачился далее с трудом.
Ему осточертела тряска
и ненавистна колея:
«Зачем средь визга и средь лязга
 всю жизнь куда-то еду я?»
Он мимо ЦУМа проезжает
и с завистью воображает:
«Зачем вожу я образин,
а не стою, как магазин?»

И, глядя на его движение,
тоской по крышу залит ЦУМ,

кипит его воображение,
и вот одна из тяжких дум:
«Я неподвижен, костенею,
товарной дрянью я набит,
толпа топчет и вопит,
что продаю им ахинею,
им только импорт подавай!
Зачем, зачем я не трамвай?
С каким бы гиканьем и звоном,
с горящим номером во лбу,
развез бы по микрорайонам
я эту хищную толпу!
Купить успели, не успели —
я всех их вывалил бы прочь,
и, как дитя на карусели,
по кругу ездил бы всю ночь!»

Но есть особый закоулок,
где окончанье их прогулок,
где у подружки меркнет взгляд,
и здесь ее слабеет яд.
Табличка каркает вороной:
здесь трест шурует похоронный!
Ничуть не мучаясь тоской,
здесь служат смерти день-деньской.
Загробной жизнью не пугают,
бессмертия не признают,
венки плетут, гробы стругают,
ограды старцам продают.
Каменотесы мрамор рубят,
вдыхая каменную пыль.
Они свою работу любят,
она дает автомобиль.
А молоко домашних коз

предупреждает силикоз.
А золотистый локон стружки
слетает с гробовой доски!
А две усердные старушки
штампуют вечные цветки!
В сияньи, грохоте и гуле
ударно варит аппарат
из арматурных загогулин
ряды надгробий и оград.
Искра, под электродом брызги,
о жизнь моя, побудь со мной!
Вечнозеленый, жестяной,
греми, венок, во славу жизни!
В листке железного венка,
как гусеница, спит тоска.

Он поздно встал и поздно лег.
Дома вокруг во тьму упали.
Лишь, как под пеплом уголек,
две-три бессонницы мерцали.
В напрасном ожидании сна
дышал он мерно. А она,
его подруга — отдалялась,
струилась, в форточку текла
и по ту сторону стекла
ему прощально улыбалась.

Она лишь днем ему верна.
Ему, бездельнику, в угоду
лишь днем гуляет с ним она,
а по ночам идет к народу.
К трудящимся, в их забытье —
им было днем не до нее.

Во всех домах, по всей округе,
повсюду сны морят людей,
и в каждом сне бушуют вьюги
стараньями его подруги,
и в них виденья все лютей:
мораль по совести тоскует,
тоскует совесть по гульбе,
судьба тоскливо протестует,
страшась неясного в себе.

И там, где звезд рои роятся,
куда ночами из окон
глаза людей глядеть боятся
на предначертанный закон,
где над пустынею причала
созвездий призрачен венец,
там, где всему, что есть начало,
приходит все, что есть конец —
в конце концов, в начал начале,
всех пронизавшая, сама
тоска тоскует по печали,
торжественно сходя с ума.

Полнощный царственный простор.
Уснувший город... Бога ради!
Ворвался в улицу мотор,
треща, как палкой по ограде.
В ночном такси два ездока
летят в согласьи молчаливом,
на животах авоськи с пивом,
в глазах всемирная тоска.

КУДА НАС В ПОЛНОЧЬ ЗАНЕСЛО

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

ПОЭМА

С КВЕР
В центре мирного пейзажа,
в сквере около Пассажа,
я на лавочке сидел
и читал газету.

Махаон пролетел
по дороге к лету.

Поднялась трава большая,
загорчачалась сирень,
нежной тенью украшая
майский день.

ГАЗЕТА
«Нация на нацию,
устроили санацию.
Встреча во Флоренции
на мирной конференции.
Парламент на вакациях,
столица в провокациях»

«Гуманитарный батальон
доставил в кубиках бульон.
Живые у костров сидят,
а мертвецы лежат во мраке.
Живые хлебово едят,
а мертвецов едят собаки»

«Ежедневно на планете
десять тысяч микровойн!
Прекратите! Гибнут дети!
...Отключили микрофон»

Наглотавшись газетного газа,
поглядел я с тревогой окрест
и открылся прозревшему глазу
политически острый подтекст
мирного пейзажа
в сквере у Пассажа.

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Свод небесный чист, высок.
Пчелка, золотая крошка,
из душистого горошка
пьет она последний сок.

Махаон, как флаг ООН,
на ветру трепещет он:
«Про-тест! Про-тест!»
Пчелка слушает и ест.

На коммерческие киоски
наводя безнадежную тень,
шепотком митингуют березки,
ностальгически дышит сирень.

Тополь глупый над клумбою машет:
он незримую битву постиг
демократических ромашек,
коммунистических гвоздик.

ГРОЗА

Прогнозист, слезой утрись!
Кто проспал? Где были раньше?
В небесах — милитаризм,
там мечтают о реванше.

Идет флотилия,
борта лиловые,
и зреют в трюмах
ракеты молний,
торпеды грома,
идет угрюмо,
идет огромная,
идет безмолвно.

Гро-за!
Кто за?
Распахни глаза.
Против кто?
Надень пальто.
А поддавший гражданин,
вылезая из штанин,
ножкой вензели рисует:
«Мать и мать и перемать!»
За кого он голосует —
как прикажешь понимать?

Перед окончательным захватом
дабы обработать всех подряд,
пропагандистским аппаратом
обрушился на крыши град.
Силен напор, тоталитарен

грохочущей белиберды —
то ли монгол, то ли татарин,
летающий с плеткой в дни Орды!

Было мило, весело.
И — на тебе: агрессия!
Струи лупят вкривь и вкось,
в гриву, в хвост...
Хаос!

Поддавшись на провокацию,
потеряв ориентацию,
из рук моих вырвана порывом ветра,
кувыркается уважаемая газета.

Ветер, ветер,
экстремист,
все на свете
сдуть стремись!
Идеалы и мечты
разбегаются в кусты.
По загонам и по хлевам,
по забору, по карнизу,
было правым, стало левым,
было сверху, стало снизу...
По лужам, граждане!

Кто трусом был, тот стал героем,
кто был умен, теперь он туп.
Демократическим устоем
стоять остался старый дуб.

СКВЕР

Я на лавочке сидел.
Подошел небритый парень
в куртке треста «Ремгоргаз».
Попросивши сигарету,
он сказал:
«Жуй морковь, читай газету,
прокурором будешь к лету».

*Р*азъевреились знамена,
обрусели небеса,
загрузинились вагоны,
почукчали сквозь леса.
Киргизуют паровозы —
дагестанится гора,
разъякутились морозы,
размолдавилась жара.
А вдали не ветер стонет —
там латышатся вдали,
накреныются, эстонят,
разлитовясь, корабли.
Я удмуртен, ты чувашен,
и еще в каком году
набурятили мы скважин,
туркменясь на ходу!
Ты башкиришь, ты балкаришь,
я лезгинен, ненцеват,
ты черкесно мне товарищ,
я тебе селькупно брат!
Но не вечно нам кореять,
дружбу крепкую ковать,
мне последним удэгейть,
а тебе — эвенковать.
Утром выйдешь, видишь: финиш...
Мы прощаемся любя:
ты меня карелофинишь,

я китайствую тебя!
Мысля, может, гагаузко,
камчадально глядя вдаль,
украинисто и русско
потатарили — не жаль.
Мы мансили, что хантели,
уцыганились гулять!
Одного лишь не успели:
начечениться стрелять.

П урбобуеры ветров,
ветробаки атмосферы,
кубатуры тополей.
Две собаки ходят в скверы.
Мерно звякает троллей.
Бус невидимые нити
над домами протяните.
Хрупкий город, крупорушка,
трижды в день хрустит старушка.
Из ноздри пропел микроб:
«Восемь на семь нужен гроб!»

Опыт сточенных копыт,
кто отпрыгал, тот забыт.
Того знобит.
Он в колясочке из жести
ледяной,
принял двести,
принял хвостик сельдяной.

На перроне,
на гудроне,
две грудастые гармони,
на гормоне спекулянт,
на морозе грай вороний,
физкультурный закалянт.

А в пространстве есть квадрант,
где, сверля четвертой осью
голубую, купоросью
разнотравицу лугов,
газом травится любовь.

Вторчерметы четвергов,
осторожно и творожно,
недокушано врагов,
на вокзалах дорпрофсожно.

Ягель — в тигель,
тягу в Ивдель,
он заиндевел, задул,
индивидуальных Индий
по три блямбы на заду.

А в провинции Квебек
замедляет время бег.
Ария Онтарио,
терял ориентарио.
Ось на ось, на полюс полюс,
но авось и успокоюсь.

СУФФИКСАЦИЯ

(фиксация суффиксов)

К ибернетика. Семиотика.
А вчера повстречал идиотика.
Его разум впал в маразм.
Благородный суффикс «азм»!
Эразм...
Разразился катаклизм:
нет в продаже детских клизм.
Всепогодный суффикс «изм»!

СЦЕНЫ

В магазине:
— Какой ценизм!
(Какие цены!)

В милиции:
— За ваш садизм,
увы, не избежать судизма.

Супруге — муж:
— Твой изменизм
нас доведет по разводизма.

Летит автобус под девизом:
«У нас во всем передавизм!»
Передавизм на компостер,
и кто кого передавизм

(«Позвольте вам сместить ненужный организм»).

РЕКЛАМА

Хранизм денежек в сберкассе!

Он хранизм,
она хранизм,
накопили жигулизм!

МОРАЛЬ

Торопизм и трупизм
(торопясь, идти по трупам).
Становизм (у вас на горле),

ПРОИСШЕСТВИЯ

Спиритизм (что-то сперли).

КАЛЕНДАРЬ

Январизм (варизм браги).
Феврализм (врализм жене).
Мартовщина (март — мужчина).
Апреляция (к весне).
Майчество — июньчество
(Мать честна! Чиста листва
и одуванчества чуда-чества.
Ода венчикам, одуванчикам,
одувание: дунь, дунь...
До свидания, до свидания...
Какая рань!
И рань, и юнь...)

Июлянство
(крыматорий).

Августация
(плодов).
Сентябризмы
(интуризмы).
Октябрянский
(брянский)
волк.

Ноябрические вьюги
(электрические звуки).

Декабризм
(диким бризом
пробирает до трусов).

Дед Мороз,
брящая дико,
запер елку на засов —
декабряция лесов.

В эти пасмурные дни,
в эту мрачную погоду,
сочинитель, сочини
одичавшему народу
верноподданную оду:
как он чудно погрубел,
как дебилами обилен,
да и это не предел!
Но молчишь, воспеть бессилен
распрявление извилин.
Ты введен был в оборот
давешним официозом,
просвещал простой народ,
всюду издан, всюду роздан.
Но народ в порыве грозном
век свободы увидал,
отвали, товарищ автор,
проживет он без метафор
и без слова «идеал»,
Он в твоём словесном вздоре
не нуждается, старик,
вот три буквы на заборе
он прочтет от сих до сих.
А стихи? Да что он, псих?
Все на благо человека!
Раз забор и два забор —
вот и вся библиотека

стала с некоторых пор.
Ты и сам забыл слова.
Буквы помнишь — ходовые.
Час большого торжества —
в книгу смотришь, как впервые.
Смотришь в книгу —
видишь фигу:
Эмэмэм, Алмаз-инвест!
Я дарю тебе интригу:
кто не трудится — не ест.
Нынче песенки такие:
сникерс, баунти и марс,
ананас, банан и киви,
мерседес и адидас.
А поэту Бог подаст.

*Н*овое ходит по улицам, новое,
в кожаных куртках, бритоголовое,
старое бродит по улицам, старое,
жметя по краешку тротуара.

Новое ходит по улицам, новое,
в морду без повода двинуть готовое,
старое бродит по улицам, старое,
глазом кося в ожиданья удара.

Новое ходит по улицам, новое,
новое что-то в глазах — **дауновое**,
знак вырожденья в диагнозе, данном
для тупоумных доктором Дауном.

Новое ходит по улицам, новое,
скудное речью, в повадках суровое,
смотрит на новое, крестится старое,
новое кажется божией карою.

Новое ходит по улицам, новое,
новое что-то в глазах — дауновое,
старое бродит по улицам, старое,
и у него настроенье хреновое.

У БУЛОЧНОЙ

У булочной, под зимним небом,
с его свинцовой панорамой,
я занял очередь за хлебом,
я занял очередь за дамой.

Стою за дамой и за хлебом,
а дама — за почтенным старцем.
Она стоит под зимним небом
за хлебом и за этим старцем.

Под зимним небом, зимним небом
старик стоит за длинным парнем,
при этом он стоит за хлебом,
стоит за хлебом и за парнем.

Цепочку перемерзших граждан
кует мороз под зимним небом,
и каждый здесь стоит за каждым,
но в целом все стоят за хлебом.

А я? Зачем стою упрямо
в цепи людей под зимним небом?
За дамой я стою, за дамой!
За хлебом я стою, за хлебом.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

*В*илку правой рукою,
как ни хочется — не брать.
Если выпили спиртное —
возгласов умерить громкость,
если проще: не орать.
Не хватать любую емкость:
рюмки, стопки и бокалы
потрудитесь различать.
Наливать не слишком мало,
но не выше пояса.
Не занюхивать горбушкой
ароматы коньяка,
не махать куриной тушкой
перед носом визави,
объясняясь ей в любви;
и с усердием упрямым
не транжирить водку дамам,
если мало для мужчин;
с подлецами не обедать,
не иметь к тому, не ведать
побудительных причин.

*Т*инейджера лицо с дебильностью во взгляде
приблизилось во тьме зверьком бесцеремонным,
советуя без слов задумчивому дяде
привычку отменить к вечерним моционам.

Тинейджеры бредут, ужимки их убоги,
с гримасою одной и в одномастных куртках,
роняя там и сям в культурный слой эпохи
эстетику плевка, поэтику окурка.

А город сдвинут прочь, как сдвинута к побелке,
изнанку обнажив, задрипанная мебель,
и улицы пусты для драк и перестрелки,
и теплый смех толпы припомнится как небыль.

Прохожий, слух востри, будь осторожен, зорек,
забудь фонарный свет, как давнюю причуду.
К какому торжеству приуготовлен морок
и траурная грязь разостлана повсюду?

Она лежит в тени, как мятый рытый бархат,
мерцает под луной узорами муара,
и хочется взлететь возвышеннее Баха,
не запятнав стопой всю роскошь тротуара.

И сам не знаю как убил тебя, оса.
Ведь, кажется, ничем ты мне не угрожала,
балкона моего залетная краса —
отнюдь не на меня свое направив жало.

Ты лишь на аромат молдавских груш литых
нацелилась. На их густой медовый запах,
лишь возмечтав вкусить хмельную мякоть их
и деткам отнести на отягченных лапах.

Поверь, я не привык бояться пчел и ос —
ни разу не страдал от живности я этой.
Я, видно, нехорош. Я нервен стал всерьез.
И хлопнул по тебе закрученной газетой.

Но может, оттого, что в той газете, в ней,
и сам я был убит очередной сводкой
со всех сторон Земли, где,
как в любой из дней,
смерть сызнова прошла уверенной походкой?

В строках, где столько раз повторено: «убит»,
«расстрелян», «сожжены»,
«разбились», «утонули» —
взбухая на глазах, кровоточит петит,
один свинец идет на буквы и на пули.

Нас тысячи теперь, в чьих свихнутых умах
запуганность растет,
со злобой перемножась,
произведение их — мой судорожный взмах,
каким ударил я жужжащую ничтожность.

Одни у нас с тобой поруганы права.
«Нет правды на Земле, но нет ее и выше».
Прости меня, оса... О боже, ты жива?!
Корячишься, ползешь? Какая жажда выжить...

МИЛЛИТАРИАДА

ПОЭМА

1

*П*релестна у Чехова схема
смешного рассказа:
«В семье все любили дедушку» —
завязка.
«Если готовили рыбу,
его угощали первым» —
кульминация.
Развязка:
«Если он оставался жив,
ели все остальные».

2

Раньше, бывало, у первобытных:
племя на племя, а впереди,
над головами вращая дубины —
шли без особой охоты вожди.

Честно лупили, однако,
друг дружку по телесам:
повел народ на драку —
изволь подраться сам.

Вот и теперь бы... Министры!
Ну-ка, в окопы — и быстро.

В траншею
заройтесь по шею.
Затем, по сигналу к атаке,
с гранатой — на танки!

Главмаршал!
Победа тебе дорога?
Лишь так, не иначе:
садись на ракету,
лети на врага —
желаем удачи!

Элиты, правительства,
президенты!
Вы наши любимые дедушки.
Отведайте первыми!
Будете живы —
хлебнем после вас и мы.
А нет — так нет.
Проводим любимых дедушек
на артиллерийском лафете,
цветами засыплют вас дети.
Салют! Привет!

3

Но нету господ на переднем краю:
спокойную жизнь они любят свою,
с охраною и при секретах
в подземных сидят кабинетах.
А где полыхает и грохает ад,
идет на солдата такой же солдат.

Во имя величия пошлых идей
обычные люди обычных людей
взрывают, сжигают и рубят.
За это их Родина любит.
За это тому, кто вернется,
бесплатный протез выдается.
Бесплатный протез
и бесплатный проезд,
а после оркестр
и звезда или крест.

...А поле затихло, где битва прошла,
где жгли и кромсали живые тела.
И в полночи
луна засияла над грудями тел,
да шепот предсмертный прошелестел:
«Сволочи... сволочи... сволочи...»

4

ГОВОРЯТ ПУЛИ

Лежу в стволе и жмурюсь сладко.
Сейчас я вылечу. Ау!
Мгновение полета кратко —
с большим присвистом проживу.

Раз-два-три-четыре-пять,
я иду искать.
Ребята!
Кто не спрятался —
я не виновата.
Скорость у меня великовата.

Сейчас я вылечу. Ку-ку!
А все претензии — к курку.

* * *

Я пуля, я философ!
Из множества вопросов
один меня волнует
из века в век, от века:
ищу человека!

Как фонарик Диогена,
я пытлива. Как гиена,
рыщу, нюхаю и вою
у тебя над головою.

Я летаю и грущу,
я любимого ищу.

Очарованною пчелкой
забиваюсь прямо в щелку,
прямо в сердце, как в середку
медоносного цветка.

Ах, простите мой неточный,
мой стихийный аппетит,
вянет, вянет сей цветочек,
оземь лепесток летит.

Ах, пардон, пардон, пардон,
мне такой не нужен он.
Я летаю и грущу,
я любимого ищу.

Здравствуй, милый,
счастлив будь!
Я тебя целую в грудь!
В зоне пламени и дыма
я нашла тебя, любимый,
и отныне мы вдвоем:
ты в моем навеки сердце,
я тем более в твоём!

Но, откинувши копыта
и нахмутивши чело,
ты лежишь с убитым видом...
Мне опять не повезло.

Я летаю и грущу,
я любимого ищу...

* * *

Кожу пробить,
сухожилие прогрызть,
кость прорубить...
Убивать — это тоже работа.
И поверьте, она не легка.
Кожа бывает дубленой,
жилы как сталь,
кости как камень.
Сердце дается легко.
Но пока до него доберешься...
Дым и зловоние,
пот и жара,
скрежет и визг...
Каторжный труд, господа.

* * *

Меня выпустит ваша ненависть,
или стойкость,
а, может, нежность.
Меня выпустит ваша храбрость,
или трусость,
а, может, тупость.

Я, как скорая помощь, дежурю,
вызывают меня по тревоге,
и сама в нетерпенья дрожу я...
Вот и вызов! И вот я в дороге.

Разве пули с сердцами повздорили?
И своею ли волею мчусь я?
То летят по кривой траектории
обостренные ваши чувства.

Ненавидите или грезите,
или просто душа болит...
Мы летучие ваши депрессии,
удлинение ваших обид.

И покуда не видно конца
замечательной вашей традиции
облекать то мечты, то амбиции
в девять грамм боевого свинца —

нам завещано на веку,
задыхаясь, спешить через полночь,
по свистку, по звонку, по курку
из стволов вылетая на помощь.

ГОВОРЯТ БОМБЫ

Бомба бомбе говорит:

«У меня живот болит.

Я не знаю, как мне быть —
я хочу бомбить, бомбить!

Ах, скорей сорвите пломбы,
дайте волюшку для бомбы,
а иначе будет шок
или заворот кишок».

Отвечает бомба бомбе:

«Я живу мечтой одной —
о всемирной гекатомбе,
сотворенной лично мной.

Где ты, наша Хиросима?
Больше ждать невыносимо».

«Бомбы, мы, кому ни служим,
с детства крепкой дружбой дружим.
Проживая в разных странах,
бомба в бомбу влюблена,
даже если в тайных планах
на подругу взведена!»

«У моей подружки бомбы
если был бы вдруг альбом бы,
записала б ей, любя:
БОМБИ МЕНЯ КАК Я ТЕБЯ!»

ЗИМУШКА-ЗИМА

Разлюбезный друг мой Ваня,
надевай пимы,
надевай пимы, пимы-катанки,
от Канады до Тайваня
ничего, кроме зимы,
все в сугробах
от Судана до Хатанги!

Стала в Конго — Колыма,
в Мексике — Гренландия.
Здравствуй, зимушка-зима,
здравствуй, ядерная!

Эй, из каждого двора
выбегай, детвора!
На коньки, на лыжи,
в Дели и в Париже!

Садись в салазки,
катись с Аляски,
по дорожке ледяной
через Турцию в Ханой!

Что ж вы, дети? Где ж вы, дети?
Ваши радостные крики
не слышны нигде на свете,
от Москвы до Коста-Рики.

Люди, где вы? Где вы, птицы?
Звери, рыбы, мухи, жабы?
Инфузории хотя бы?
Государства где? Границы?
Где Америки, Европы?
Автострады, рельсы, тропы?

Замела метель дорожки, замела.
Снег да пепел, да зола...
Вкруг планеты бесконечно
убегай за окоем —
ни следа и ни накрапа,
ни обувкой человечьей,
ни копытом и ни лапой,
ни единым коготком...

Чу! Шаги... Чудесный случай!
— Эй, ты жив?!
Ответь, не мучай!
Это кто там — «топ-топ-топ»?

То последний, сверхживучий,
знать не знающий хвороб,
в три винта морозом скручен,
топчет лапами сугроб
замерзающий микроб.

Он мутант, мутант, мутант,
он гигант, гигант, гигант.
Средь сугробов, туч и льдин
он один, один, один!
Лапой он о лапу бьет,

трубным голосом поет:
«Красота — сойти с ума —
ненаглядная!
Здравствуй, зимушка-зима,
здравствуй, ядерная!»

7

ПОХОРОНЫ

Брызжа огнями, подобно шутихам,
дымными струями в космосе тихом
плещется в траурной раме
оповещение о маленькой драме
с третьей планетой одной из систем:

«ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Мы, пригорюнясь и опечалясь,
мир известить поднебесный должны:
после недолгой тяжелой войны
в нашей системе внезапно скончались
а) голубая планета Земля,
б) вся органика также ея,
все обитатели суши и вод,
в) в том числе, человеческий род.
Вот».

«Ушла от нас сестрица дорогая!»
На скорбный одр покойницы Земли,
планеты, содрогаясь и рыдая,
сойдя с орбит, отпеть ее пришли.
Сей угол космоса
весь в траурном убранстве

и безутешный Солнышко-отец
рвет на себе протуберанцы:
— Дитя мое... Какой конец!

Красавица Венера — туча тучей:
— Еще вчера я видела ее
здоровой, голубой, цветущей...

Марс грубоватый:
— Е-мае!
В багровых шрамах старый воин,
и только внешне он спокоен:
— А я-то ждал соседку в гости.
Вот, повидались... На погосте.

Входит Меркурий.
Нервно курит.

Приковылял Юпитер,
слезу скупую вытер.

Сатурн — с каменным лицом
и помрачившимся кольцом.

Телеграммы. От кометы Галлея:
«Прибыть не могу. Весьма сожалею».

От Большой Медведицы:
«Какая трагедия. Просто не верится».
«Жутко расстроен. Не в силах уснуть.
Млечный путь».
Стоит Луна, от слез ослепла,

отказываясь понимать:
лежит под серой коркой пепла
ужель ее родная мать?
Ей в это верится с трудом...

— Куда сиротку-то?
— В детдом...

Нептун с Плутоном, в обнимку:
— А будут поминки?

Солнце:
— Ти-хо! Конец разговорам.

Все, хором:
— Упокой, Господи, душу раба твоего,
Шара Земного...
Аминь.

8

ПОМИНКИ

— Кто б мог подумать... А чем хворала?
— Да разное. Язвы возле Урала.
Опухоль на Ближнем Востоке.
По всем океанам смердящие стоки.
— И что — не лечилась?
— Ну, как! Прижигания, уколы ракетами.
Вроде, победы шли за победами.
Вдруг оказалось: с Балкан до Кавказа
растет метастаза.
Двинули лазером с двух сторон —

и полыхнуло разом...
— Вот и допрыгалась до похорон,
а еще похвалялась: разум, разум!
— Возьмите меня — из живой материи
одни бактерии.
— А у меня?
Азот, водород,
камни да лед.
Какие там к чертовой матери войны!
Лежат себе и премного довольны.
— Да, жить бы и жить... Еще молодая...
— А все людишки с их нервным бытом...
— Ну, космос ей пухом... И так далее.
— Все. Закругляемся. Пора по орбитам.

9

Над кварталами вечность нависла
и искрит мириадами звезд,
не ищи в них особого смысла,
он порой ослепительно прост.

Где лучится сиянье густое,
где сегодня мы видим его,
там давно уж пространство пустое,
там давно уже нет ничего.

Это где-то погибла планета,
испустив на прощание свет,
как последнее слово привета
для пока еще целых планет.

И из вечности, как из колодца,
где вовек не избудет воды,
он в глаза нам все льется и льется,
теплый свет от погибшей звезды.

Я верю, придет исторический час —
так тому и бывать:
последняя пуля
в последний раз
отправится убивать.

Она полетит на уровне глаз
в конце двадцать первого века.
Последняя пуля.
В последний раз.
В последнего человека.

О пять стреляли в кого-то под вечер.
Вновь красной краской облили статую.
Вчера в старухе при входе в «Овощи»
узнал свою пионервожатую...

Когда мне галстук она повязывала,
смущая грудью крутой и полной,
и быть готовым она приказывала,
и я поклялся, что — да, исполню! —

дышала грудь ее под батистовой
прозрачной блузкой, и я чуть сдавленно
кричал, что буду сражаться истово
в борьбе за дело Ленина — Сталина...

Старуха встала перед витриною,
ножищу выставив с набрякшей веною.
Старуха, помнишь свое старинное
святое дело послевоенное?

Оно закончено, как видишь, начисто,
моя красавица с кошелкой мятою.
В иное светлое дорога начата,
и что там ждет нас, моя вожатая?

Но нас привычка спасет давнишняя,
и мы с тобою к чему угодно
всегда готовы — старуха нищая
и пионер твой... Какого года?..

Собака умерла. Была любима всеми.
И в доме всем она мешала, как могла.
Собака умерла. Освободилось время.
Теперь дела пойдут. Теперь пойдут дела.

Отныне нет нужды на выгул и кормежку,
на стрижку и мытье расходоваться нам.
Собака умерла. Отвыкнем понемножку
от стука коготков в прихожей по утрам.

А по утрам денек опять привычно начат
под радиоволну, с военных новостей.
Собака умерла. Но что уж это значит,
когда приходит весть о гибели детей?

Спросили вы меня, какого горя знаки
печалют мне лицо.
Да — что стряслось со мной?
Я медлю отвечать, что плачу о собаке
с отвислым животом и лысою спиной.

Средь незнакомого квартала
держала девушка весло...
Переночуем где попало,
куда нас в полночь занесло.
Шампанское зашло в салюте,
приветствуя кого из нас?
Чей это пир? Кто эти люди?
Налейте, впрочем... Понеслась!
Приют нежданных постояльцев,
в окне бетонный истукан...
Ура! Из ослабевших пальцев
упал и катится стакан.
На плащ, постеленный в прихожей,
вповалку, с хохотом, гуртом.
Какие лица! Что за рожи!
Интеллигенция! Дурдом!
Мир перевернут и повернут,
закручен в детскую юлу.
«Старик, пошарь на кухне... Вермут...»

Кто эта женщина в углу?

В любой компании и шайке
всегда такая есть одна,
она с глазами мертвой чайки
сидит и курит у окна.
А за окном светло и тихо,

там тихо-тихо и светло,
стоит бетонная гребчиха,
вздымая мощное весло.
Религии забытой идол,
здоровой жизни идеал —
фантазию ли скульптор выдал
иль впрямь такую увидал?
И где-то есть еще на свете,
что так могучи и стройны?
А мы с тобой больные дети
давно хворающей страны.
Несет кислятиной из комнат,
окно в синеющем дыму.
Никто здесь никого не помнит,
никто не нужен никому.
Лишь горький дым, хмельная пена —
вот нас связующая нить.
Дай голову в твои колена,
не познакомясь, уронить.

НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

И е копил на черный день
и не накопил,
злата-серебра себе
впрок не накопил.

И не верил в черный день —
что наступит он,
хоть предупрежденья шли
мне со всех сторон.

Не копил на черный день
и не накопил,
и не верил в черный день,
а он наступил.

Налетел средь бела дня
на меня, на вас...
Впрочем, есть и у меня
кой-какой запас.

Есть лапши почти мешок —
не хухры-мухры!
Есть заветный пузырек,
есть кулек махры.

Ты варись-варись, лапша,
ты дымись, махра.
Жизнь, как прежде, хороша
с самого утра.

А жизнь оказалась такою короткой,
а сам оказался таким пустомелей,
а совесть легко усыпляема водкой,
но вновь просыпается вместе с похмельем.

Любовь оказалась ненужной помехой,
лишь гиря и якорь,
лишь тяжесть и тягость,
а сам оказался таким неумехой,
но выпью — всегда успокоюсь, улягусь,

хоть водка таким дерьмецом оказалась —
ее разливает бакинец в сарае,
а за город вздумал,
проветриться малость,
земля оказалась такая сырая.

Т де вздымалась крутая гора над прудом,
где ржавела решетка в кирпичной стене,
и повинно кренился Ипатьевский дом,
было место заветное ведомо мне.
То ли снег на ветру здесь особо колюч,
то ли стонет под домом
расстрельный подвал,
то ли землю пронзает космический луч.
Здесь в безлюдную полночь
я дважды вставал
у ограды резной, у щербатой стены.
Два решенья здесь принял — и оба верны
оказались. А нынче настала пора
к моей точке секретной
прийти в третий раз.
Но обрезана, будто горбушка, гора
и пробит в ней подземный зияющий лаз,
и не стало кустов и решетки резной,
и часовня грустит, где Ипатьевский дом
с головою повинной стоял над прудом,
а заветная точка висит надо мной
там, где штанги троллейбусов
рвут провода,
(уж не луч ли космический
в том виноват?)
и летит сквозь нее ледяная вода,
сквозь скрещенье таинственных координат.

Ледяная вода и безлюдная ночь.
Я раскрыт, рассекречен и выброшен прочь.
Стародавними стали мои времена.
Изменившийся город, иная страна.
Я еще поживу, я еще подышу,
но того, что решить бы, уже не решу.

Закончись, век, навеки завершись,
не виноват ты в летоисчисленьи —
что по сто лет кусками режут жизнь,
внутри них помещаясь, поколенья.

Не торопясь проходят облака
над берегами в полусонных ивах,
а как летят стремительно века,
тому не сыщешь сведений правдивых.

Мы не хотим, мы медлим умирать,
и самый гордый среди нас зависел
от ваших номеров, века, в тетрадь
внося смиренно нарастанье чисел.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

*Ч*очью дождь барабанил по крыше,
кружит голову запах хвои.
Ты присядь ко мне, милая, ближе,
расскажи мне печали свои.

Почернели кусты, поредели,
засветились решеткой сквозной.
Это надо: чтоб двое сидели
у озябшей опушки лесной.

Тут секрет открывается старый:
чтобы мир обретал торжество,
хоть одной человеческой парой
дорисовывать надо его.

1965

Будто вымокшими сетями,
перечеркнут дождями лес.
На вокзальных часах — сентябрь.
Прибывает осенний экспресс.

Начинаем большую разгрузку:
не скрывая нахлынувших слез,
лист капустный, скрипящий, хрусткий,
под засолку идет с колес.

Клюкву, грузди, опята, морошку —
в ведра, в коробки, в туюски,
огурцы, помидоры, картошку —
в бочкотару, в кадушки, в мешки!

Под заздравную песенку зяблика,
улетевшую к небесам,
покатилось румяное яблоко
по горам, по лесам.

Травы ржавые и седые
светят золотом, серебром,
руки жадные, молодые
пахнут холодом, сентябрем.

Огородная и лесная,
не жалеющая труда,
осень севера осеняет
наши веси и города.

Подъем одолевши с присвистом,
стал поезд на скорость скупей.
Сражаются преферансисты
в прокуренном нашем купе.

Опять недобор и ремизы
удачу назад отвели,
и снится неловленный мизер,
как чудо восьмое Земли.

А день им пейзажи тасует
и суетно в раму суёт:
то елки сплошные рисует,
то сельский видок раздает;

то вдруг, передернувши крепко,
к шлагбауму у большака
подкинет взмахнувшего кепкой
подвыпившего дурака.

1965

БАЛЛАДА О ХРАБРОМ ПОРУЧИКЕ

Ать-два,
аь-два,
аь-два...

Общеизвестный случай:
рота шагает в ногу,
двигаясь понемногу,
бьет сапогом в дорогу.
Только один поручик
упрямо шагает не в ногу.
В спины уставясь слепо,
рота шагает с левой,
с верой святой и правой
рубят поручик с правой.
С песней лихой и бравой
рота шагает с правой,
от вдохновенья бледный,
рубят поручик с левой!
Ох, и упрям поручик!
Кто его переучит?
Так и прошел дорогу
с ротой своей не в ногу.
И за грехи такие —
разжалован в рядовые.

В спины уставясь слепо,
рота шагает с левой,
с верой святой и правой

рубят солдатик с правой.
С песней лихой и бравой
рота шагает с правой,
от вдохновенья бледный,
рубят солдатик с левой!
Ох, и упрям солдатик!
Как с непокорным сладить,
с тем, для кого не сладок
монументальный топот,
кто в строевой порядок
вносит разлад и ропот?
Ох, и упрям солдатик,
ох, и упрям поручик!
Надо почаще драть их —
это всегда проучит.
Драли, еще как драли,
беглых — опять имали,
да сверху вниз орали,
да снизу вверх пинали.
Но и сквозь строй, под палки,
последнюю путь-дорогу,
этот упрямец жалкий
вновь прошагал не в ногу.
Так и ушел солдатик —
видно, с таким не сладить.
Так и ушел поручик —
смертью не переучен.
Ать-два,
 ать-два,
 ать-два...

1965

*Д*ожди и туманы — к разлуке,
и у виноградной лозы
прощально заломлены руки
и ягоды цвета грозы.

К разлуке — кипенье прибоя,
в туманах пустой горизонт,
и пляжей безмолвье рябое,
и ветром закрученный зонт.

Киоски, мостки, парапеты,
кусты почернелые роз...
И все твои песни пропеты,
и Яшка гитару увез.

1971

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

*Д*о краев полна житейской прозой,
Пушкинская улица живёт.
Южный человек с красивой розой
дорого ту розу продаёт.

Ежедневно местные поэты,
прерывая благородный труд,
борщ отведать и принять котлеты
Пушкинскою улицей идут.

Что ж, когда не требует поэта
для священной жертвы Аполлон,
он в заботы суетного света,
как и все иные, погружён.

И, да не осудит население,
но мы часто любим повторять,
что не продается вдохновенье,
но что можно рукопись продать.

А душа в борениях устала,
тянется она, само собой,
под шипенье пенистых бокалов
выпить пунша пламень голубой.

Выболтаны все мечты и планы
и стаканы выпиты до дна.

Гляньте: сквозь волнистые туманы
молча пробирается луна.

А в ночи, как прежде, тайн немало,
клёны, вздрогнув, заново растут,
ветры, прилетевшие с Ямала,
Пушкинскую улицу метут.

Приглядись: в полуночном квартале
виснет историческая мгла.
Бог ты мой, через какие дали
Пушкинская улица легла!

Воспевали, плакали, грозили,
вот уж два столетия в пути,
Пушкинскою улицей в России
все поэты пробуют идти.

Тень от клёнов падает узорно,
виден вырез каждого листа.
Пушкинская улица просторна.
Пушкинская заповедь проста:

будь любезен своему народу,
добрые в нем чувства пробуждай.
Век жесток — а ты восславь свободу
и на милость к падшим призывай.

Вот и все. Не так уж это сложно.
Что случится — этому и быть.
Иначе, поэты, сколько можно
Пушкинскою улицей ходить?

1980

Хомо сапиенс, эй, хомо,
думаешь о чем, о ком,
выходя из гастронома
с четвертинкой и сырком?

На вокзале в третьем зале
этот странный ужин твой.
Помнишь, в детстве объясняли:
думать надо головой.

У меня к тебе, земля,
небывалый интерес,
я нырнул бы в волны хмеля,
в твой мыслительный процесс.

Что за светоч там мерцает?
Что за факел там горит?
И о чем душа мечтает,
но другим не говорит?

А душа твоя гнездится
на вокзальных ветерках,
как зимующая птица
на холодных чердаках.

Ах, ты, люмпен мой усталый,
уважаемый алкаш,

за какие идеалы
ты, скажи мне, жизнь отдашь?

Матюгнулся в изумленьи,
так, что вздрогнул третий зал,
плюнул на пол меж коленей:
что еще за идеал?!

Но вздохнул, однако, тихо.
Захрипел. Заговорил:
как хлебнул парнишкой лиха
и как дальше намудрил.

Собутыльники. Дороги.
Дальний остров Сахалин.
Вот такие вот итоги,
любопытный гражданин.

Бабы нет. Родного дома
нету... И примолкнул весь.
До чего похож на хомо...
Хомо сапиенс и есть.

1983

*В*от бегуны гурьбою
бегут в осенней роще,
давай, и мы с тобою
решимся жить попроще.

Давай, смирим гордыню,
что толку в ней, в гордыне?
Все покупают дыню —
и мы отхватим дыню.

Смотри: бегут трусцою,
смотри: идут за пивом,
стоят за колбасою,
сидят над детективом.

Смотри: все эти люди
спокойны и красивы.
Давай, ругать не будем
их стадные порывы.

Давай ходить на свадьбы,
рожденья и поминки,
есть где-то сват и сватья —
заглянем для разминки.

Зайдем с бутылкой, с тортом,
и с чем-нибудь поздравим,

и за каким-то чертом
к себе прийти заставим.

Пора зажечь, как люди,
пора расставить точки,
подумать о посуде,
про институт для дочки.

Усердными трудами,
работой до рассвета,
давай копить годами
на это, то и это.

Вот есть у нас собака,
ее щенки — сто двадцать,
ей не пора ль, однако,
в затратах оправдаться?

1983

ПОДВАЛ

*М*ы все надежды подавали,
я сам надежды подавал,
теперь я — грузчиком в подвале,
но это тот еще подвал.

Здесь льется мед и стынут шпроты,
благоухает мандарин,
а сверху ходят идиоты,
приобретают маргарин.

Ах, покупательские массы,
когда бы ваш увидел взгляд,
какие здесь висят колбасы,
какой таится карбонад!

Индюк венгерский — зверь, не птица,
швейцарский сыр — слезами взрыт,
здесь иностранный хмель гнездится,
по-итальянски говорит.

Вот здесь вчера лежал осетр,
весь заморожен до нутра,
большой, как император Петр,
или как скипетр Петра.

Но востроносый сын Тобола,
обской владыка, нынче он

под топором, сверкнувшим голо,
на двадцать порций был казнен.

Прощай, питательная рыба!
Тебя я лично раздавал
всем тем, кто вход имеет, либо
особый выход в наш подвал.

О райский список, в котором
директора, секретари,
судейские и прокуроры
и просто чьи-то блатари,

все, у кого губа не дура...
Но вот однажды поутру
явились новые фигуры:
писатели. Ну, я умру!

Наивней всех на белом свете,
попав впервые к нам в подвал,
они пришли в восторг, как дети:
«Вот это харч! Фурор! Обвал!»

Писатель местный, неизвестный
широким массам едоков,
он сам едок простой и честный —
по виду именно таков.

Со скудной пищи вдохновенья
какого ждать? Лишь волком выть.
И это мудрое решение:
литературу подкормить.

Я видел чудную картину:
грузил Есенин хванчкару,
делил Булгаков осетрину,
а Салтыков-Щедрин — икру.

Тургенев взвешивал колбасы,
а Горький нес мешок конфет,
лоток с кетой волок Некрасов,
тащил паштет усталый Фет...

Мою кощунственную шутку
простите, классики. Увы,
проблемой сытого желудка
и добыванием жратвы

вас мало жизнь обременяла
и вы не знали слова «блат»:
жуй черный хлеб — копь денег мало,
а много — лопай все подряд.

Не то теперь. И я без позы
гляжу, как тащат в две руки
простые труженики прозы
авоськи, сумки, рюкзаки.

Тащите, милые, тащите!
Добра здесь много — кто сочтет?
Пишите, милые, пишите!
Кто ходит сверху — вас прочтет.

1988

Р азгрести тропинки вышел я с лопатой.
Вижу, на рябинке — свиристель хохлатый.
Прыгает по веткам, хохолком мотает,
хохолком мотает, ягоды глотает.
Сытый он, счастливый, толстый он, богатый,
он с жемчужной грудкой, серый, розоватый,
нежным шелком шиты крылья с переливом...
Ах, и я хотел бы стать таким счастливым!
«Ты скажи, ответь мне, свиристель хохлатый:
буду я счастливый? Буду я богатый?»
Свиристель лукавый хохолком кивает,
хохолком кивает, грудку раздувает.
Перья розоваты на жемчужной грудке...
«Будешь ты богатым... А счастливым — дудки!»

Разгребу сугробы, утопчу тропинку,
прихвачу губами ягоду-рябинку.
Подсластил морозец ягоду-рябинку,
подсластил морозец, да не сбил горчинку.
Свиристель жемчужный, северное чудо,
ты зачем сулишь мне, что богатым буду?
Свиристель красивый, серый, розоватый,
ты зачем мне счастья пожалел, хохлатый?

1988

*П*роснулся утренний Урал,
в рассвет глаза поворотил.
В нем где-то копится уран,
в нем где-то варится тротил.

Один Урал в цехах стоит,
другой прилег, а третий встал,
не спит трехсменный край, не спит,
всегда работает Урал.

Сварил броню, собрал снаряд
вам верный оружейник ваш.
Не спит трехсменный край, не спят
тяжмаш, средмаш и прочий «маш» —

он весь один сплошной секрет,
он столько тайн в себе хранит,
и острия чужих ракет
притягивает, как магнит.

Урал позавтракал. Присел
перекурить. Дымит заря.
В нем где-то крепится прицел,
в нем где-то точится снаряд.

Перекусил, чем бог послал,
чем бог послал и дал талон,
и на заводы зашагал,
голодноват, чтоб злей был он.

Говорит Москва. Передаем новости. В Кремле премьер Ирана встречен был с почетом и теплом, передал привет от Тегерана.

Битва за кубанский урожай — на уборке дефицит бензина. Хозрасчетом в тресте «Тяжтрубкрай» крепко подтянулась дисциплина.

В Анабабуа проснулся кратер. А в Париже завершился форум, конструктивный, деловой характер был присущ речам и разговорам.

Семь студентов казнены в Пекине. А Наджибулла сказал в Кабуле, что он президентство не покинет, и его заставит только пуля.

В Фергане и около Коканда, а потом еще на Мангышлаке в результате тайной пропаганды вспыхнули убийственные драки.

В Бангладеш столкнулись эшелоны. «Солидарность» в Польше победила.

А в Свердловске введены талоны
на стиральный порошок и мыло.

Юг Ливана до утра бомбили,
судя по жестокой канонаде.
В Будапеште перехоронили
косточки сухие Имре Надя.

В Калахари дикий жар пылает,
шестьдесят в тени и сто на солнце.
С русскими по-русски не желают
говорить отдельные эстонцы.

Вот и все на этот поздний час.
А теперь дальнейшая программа:
выступает группа «Карабас»
по заявкам тружеников БАМа.

1989

*М*оре — махновская вольница.
Море — сплошная анархия.
«Где твои власти и волости?» —
спросим. Ответит: «А на хрена?»

Вольные волны разгульные —
чтоб охватить профсоюзами?
Кто управляет акулами?
Где секретарь над медузами?

Волны не паспортизованы,
штормы не мобилизованы,
сталкиваются течения
разного направления.

Всяких ли стоит людей нести,
всяк ли корабль в порты вести?
Нет в тебе, море, идейности,
нет в тебе, море, партийности.

Гой ты, стихия пенная,
как же ты, многострадальная,
плещешь веками без пленумов,
без комитета центрального?

К СТОЛЕТИЮ ПИСЬМА № 813 ОТ 29.4.1890

(А.П.Чехов. Полное собрание сочинений
и писем. Письма. Том 4-й)

В город Е., уездный, сто лет тому
на пути к Сахалину заехав,
ряд своих впечатлений доверил письму
литератор московский А.Чехов.

Был конец апреля. Шел мокрый, гнуснейший снег.
Литератор продрог с дороги.
Он поставил ворот пальто, протер пенснэ
и окликнул извозчицы дроги.

Экипаж кособокий, шатаясь и дребезжа,
плыл в грязи, издающей чмоканья, всхлипы...
Что за чертов климат? Когда из Москвы выезжал,
на Садовых зеленою дымкою были окутаны липы.

Сквозь поземку и сумерки гостя свезли в номера
на Покровском проспекте, наискосок от костела.
Он разделся и кофе решил заварить
и уж не выходить до утра.
За окном в чахлом скверике ветки топорщились голо.

Слава Богу, гостиница хоть недурна:
номер крепко протоплен и в нем сравнительно чисто,
Кофе в здешней воде приобрел аромат дрянного вина..
Что сюда занесло популярного беллетриста?

Остроумец, насмешник, любим, знаменит, и у всех
на устах его имя в обеих российских столицах,
пьеса в Александринке имеет громадный успех...
Отчего же в Сибирь, а не в Ялту, не в Ниццу?

...А наутро все та же метель мельтешила в окне.
Он не мог разобраться, печален он встал или весел;
и привычно уселся за стол,
за письмо к московской родне,
а окно с азиатчиной тщательно занавесил,

отвращаясь картиной того, как в метельный апрель
шли прохожие в шубах, по скользким брели тротуарам.
Сообщил первым делом, что деньги целы...
Кроме тех, что проел:
подлецы, не желают кормить его даром!

Кама, он известил, претоскливейшая из рек,
цвет кофейных помоев, приправленных снегом.
Чтоб красоты ее постигать, он изрек,
надо быть печенегом,

а иначе попробуй, с тоской совладай...
Печенегом недвижно сидеть на барже, изготоясь,
обнимая рогожу, набитую воблой, тянуть сиволдай —
беспрерывно лакать самогонку то есть.

Городов здесь унылый облик таков:
и серы и грязны, как затертое платье,
и весьма вероятно,
что выделка скуки и облаков —
местных жителей единственное занятие.

Словно разом настиг их всеобщий разор,
так извозчики тут невозможно убоги,
тощеспинны их лошади, и без рессор
по дорогам трясутся дурацкие дроги.

Сторожа по ночам здесь — какого рожна? —
бьют в чугунные доски размеренно и аккуратно,
и нужна голова соответственно из чугуна,
чтоб умом не свихнуться от столь необычных курантов,

Впрочем, здешние люди по виду и впрямь таковы,
словно их изготовил в литейном заводе механик,
он отлил их с чугунными лбами, увы,
и кузнечными душу вдувал в них мехами.

Коренасты они, угловаты, в плечах широки.
Молчаливы, угрюмы, и трудно глядеть без опаски
на их грозные скулы, пудовые их кулаки,
в небольшие их, с прищуром, глазки.

Входит в номер такой с самоваром — убийца вполне!
Ну, убьет и убьет, непременно и без разговору...

Так писал он, насмешник,
в письме к московской родне
из гостиницы в городе Е., уездном в ту пору.

Через сутки иль двое он снова повлекся в Сибирь:
бездорожье, ямщицкая ругань и конское ржанье,
пароходы, паромы, пороги, бескрайняя ширь,
Сахалин, рудники, перекатная голь, каторжане.

Я живу в городе Е., в одном из домов,
мимо коих его провезли в номера.
Позвольте признаться:
чаще прозы его читаю письма, двенадцать томов,
И любимое — это:
под номером
восемьсот тринадцать.

1990

С нова злоба косит ястребино,
над страную снижая круги...
Успокой меня, ветка рябины:
ты лишь в ягодах, а не в крови.

Самого меня гневом полощет,
сам я злобствовать ныне готов...
Успокой меня, тихая роща,
легким шорохом палых листов.

На угрюмом осеннем рассвете
нет надежд на спокойствие дня,
поцелуй меня, северный ветер,
остуди свежей стужей меня.

Дай мне снега, мохнатая туча,
обними белизной, тишиной,
загадаю снежинке летучей,
чтобы злоба прошла стороной.

А она все косит ястребино...
Мы не каемся и не скорбим,
мы друг другом легко истребимы,
злойный нор наш неистребим.

1993

*Д*рянной табак закурим и дрянной
водчонки хряпнем вместо валерьяны,
как заскрипит над грустною страной,
раскрыв его склад мыслей дровяной,
вождя России голос деревянный.

От тупоумья не спасет мужик,
в конюшни наши не зазвать Геракла,
и баснословный некогда язык
иссяк, как рыба в озере Иссык
под пестицидом намертво иссякла.

Свернись, пространство, в крепкую иглу,
нам шить пора — кому, какое дело?
Игрушки разбросавши на полу,
все тайны детства прячутся в углу,
пока желанье знать не отболело.

Отправь меня в раздумья, самогон,
о дорогом, о нежном, о покое.
Но трудно размышлять о дорогом
в стране, где вор, укравши дорогое,
дешевое дотопчет сапогом.

1994

И ад Россией ветер свищет,
учиняет бурелом.
Вышел доллар за три тыщи,
устремился к четырем.
На дворе стоит погода,
на углу стоит народ,
в состояньи перехода
все никак не перейдет:
едут, едут мерседесы
и на красный не встают.
Дед Морозы из Одессы
хохмы нищим подают.
Что за новое такое
в нашем праздничном меню?
Небывалое жаркое:
на огне несут Чечню.
Васнецов, Билибин, Врубель,
нарисуй, художник, мне,
нарисуй старинный рубль,
чтоб повесить на стене.
О, скорей забыть бы надо,
как в стране большевиков
пил бутылку лимонада,
лопал восемь пирожков —
и за этот пир в державе
угнетенного труда
я в буфете школьном Клавье
рубль отдавал тогда...

*Р*аскоряка-безнадега,
балериночка Дега,
хорошо тому живется,
у кого одна нога!

Длиннорукие алкашки,
делегатки Пикассо,
я сейчас налью вам бражки,
милъ пардон, не кюрасо.

Люди с дырками, кошмары
Сальвадорушки Дали,
сядьте возле этой шмары,
наливайте, раз пришли.

Пейте, пейте, угощаю,
напивайтесь хоть в дугу,
напугать не обещаю,
рассмешил бы — не могу.

Я сижу без напряженья,
нету места мандражу,
я в уродском окруженьи,
как у зеркала сижу.

До чего же мы похожи,
но — спокойствие само —
мы сидим, кривые рожи,
не пеняем на трюмо.

Какие, однако, у нас перемены
идут повсеместно.
А счастья все нету, и это известно.
А что неизвестно?

Сыры и колбасы, любые припасы,
роскошные вина.
А счастья все нету,
а счастья не видно.
Но что-то же видно?

В уральской столице легко поскользнуться
на корке банана.
А счастья все нету, и это банально.
А что не банально?

Кто хочет, молитесь свободно — Аллаху,
Христу или Будде.
А счастья все нету, и нет, и не будет.
Но что-то же будет?

1994

У белен морозами,
тихий лес стоит.
Под двумя березами
бабушка лежит.

Под снегами, росами,
вот уж много дней
под двумя березами
мама рядом с ней.

Горе неминуемое,
незаросший след...
Вас разлука мучала
десять долгих лет.

Мучала — отмучала.
Замерли в тиши,
больше не разлучатся
две родных души.

1994

О т разнообразной жизни
в переменчивой отчизне
приглашаю Вас, дружок,
совершить большой прыжок.
Спрыгнем оба с небоскрёба
и вокруг посмотрим в оба,
по причине высоты
с лёта перейдя на «ты».

Попрощаемся с народом,
пролетая этажи.
Даже с этим вот уродом.
«Счастлив будь!» — ему скажи.
Погляди: расцвел, как знамя!
Стал счастливым!
Вот те на:
он, счастливый, вслед за нами
выпадает из окна...

Мы лежим, как отбивные,
как на противне они,
мы противны, мы иные,
чем в иные были дни.
Наши органы и ткани
птички наглые клюют.
Далеко за облаками
наши душеньки поют.

В последние годы, в последние дни
покойный был мрачен, шутить перестал,
друзей позабросил, скучают они,
и скручена рукопись, как береста,
надежной растопкой идущая в печь,
гори ты, несчастная, синим огнем,
последние годы, и что там беречь,
умрет, и не вспомните больше о нем.
Сначала сгорает бумага, за ней
чернила дымятся и сходят на нет,
но в пламени, длящемся множество дней,
никак не сгорает надавленный след.

1995

В глазах рябит от шелковых косынок,
от алых кофт и желтых шаровар.
А ты, поэт? Что вынес ты на рынок?
Мелодию? Неходовой товар.

Гремя и торжествуя невозбранно,
оркестр рынка входит в города.
Оглохнем скоро все от барабана
и флейты не услышим никогда.

1995

Затишают голоса,
город сны накрыли...
Спи, зараза, спи, краса,
слюдяные крылья.

За окном снежок идет
из мохнатой тучи.
Пусть тебе приснится мед,
золотой, тягучий.

Пусть приснится,
что ты спишь
в капельке варенья.
За окном такая тишь —
как пропало время.

Над плитой, на стене,
за день разогретой,
спи, не дам ударить мне
по тебе газетой.

Спят и горы, и леса,
и миры иные...
Спи, зараза, спи, краса,
крылья слюдяные.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ

* * *

Здравствуйте, мертвые!
Будучи временно жив,
к вам заглянул
присмотреть себе доброе место.
И ухожу, изучив ваш погост повсеместно,
глаз на одну —
на вот эту —
сосну положив.

* * *

Я гляжу, товарищи, на ваше селенье.
Мысленно прикидываю, сколько населенья.
Что-то вас, товарища, здесь многовато.
Что-то нас, товарищи, там маловато.

* * *

Никто не помнит ничего.
Никто не должен никому.
Никто не любит никого.
Никто не знает, почему.

* * *

Протянулся туман от реки.
Мрамор с ночи попрежнему влажный.
Поминают бандита братки

крепкой водкой
и песней протяжной.

Ну, а кто сочинил ей слова,
в них печаль расстелилась сквозная?
Знать не знает об этом братва,
и права: да и кто его знает?

Но представьте: он рядом лежит.
Скромный камень — могила поэта.
Он всем миром давно позабыт,
но зато его песенка спета.

* * *

Как снег тяжел,
в сосновых лежат лапах.
Пророческое карканье ворон.
Сосновый запах и еловый запах,
чудесный запах зимних похорон.

2001

ТАНЕЦ ЖИВОТА

Я видел танец живота.
Как жаль, его не видел ты.
Поверь, какая красота,
когда танцуют животы!

Когда вращается пупок,
восторженно ревет толпа,
куда там танцу рук и ног
с их па-де-де и просто па!

Живот, упругий, как бурдюк,
доверху налитый вином...
Как в нем, свершая дивный круг,
желудок ходит ходуном!

Ладонь ударила в живот,
какие сочные шлепки,
как там, сплетаясь в хоровод,
отважно крутятся кишки!

Я чем закончу свой рассказ?
С тех пор мечта во мне живет:
ах, если бы еще хоть раз
узреть танцующий живот.

2003

О светились всюду окна,
рано люд вставать привык.
Тянет дымные волокна
за собою грузовик.

Здесь напевы и просторы
с детства раннего близки,
по утрам гудят моторы,
вечерами — мужики.

«Скорой помощи» кареты
мчатся в дальние края.
Это родина ракеты,
бомбы, стали и моя.

Молчаливыми хорами
бродят толпы в городах,
на холме, в соседнем храме
лупит в колокол монах.

Аты-баты, шли дебаты,
телевизор засверкал,
показали кандидаты
обаянье и оскал.

Щи да каша — пища наша,
ваша пища — ананас,

невкусна нам пища ваша,
не устроит она нас.

Вновь усушки, перетруски
разрастается объем,
не исчезнем, как этруски,
мы по-русски проживем.

В куковании кукушки
наблюдается контраст:
живы нищие старушки,
молодежи — Бог подаст.

Улетим в Ерушалаим,
что достигнуто в борьбе,
но вернуться пожелаем
мы к таким самим себе.

Испоганим и прославим,
будем жить да поживать,
все пропьем и вам оставим
лишь искусство пропивать.

Поедим куриных тушек,
заимеем птичий грипп,
это родина частушек,
пел бы дальше, да охрип.

2004

*В*летела муха мне в башку,
залезла, видно, через ухо.
Наводит на меня тоску
своим жужжаньем эта муха.

Она, возможно, молода,
но может быть, уже старуха.
Но от любой одна беда:
— Зачем во мне летаешь, муха?

А у нее ответ готов,
и отвечает мне заодно:
— Затем, что нет в тебе мозгов
и здесь свободно и просторно.

Твоя пустая голова,
как прежде, украшает плечи,
а для меня — миг торжества:
здесь жили мысли человечьи!

Я не во сне, а наяву
твоею пользуюсь разрухой,
теперь жужжу здесь и живу,
а ты теперь живи под мухой!

2004

Поделюсь сугубо личным,
этот взгляд — он только мой.
Я по улицам столичным
шел недавнею зимой.

Шел и думал: отчего же
до сих пор, увы, увы,
не слагал стихов пригожих
в честь красавицы Москвы?

Величайшие поэты
славили ее стократ,
пели Кремль, над ним рассветы
и мифический Арбат.

Ну, а я-то, что ли, хуже?
И в сверкании огней,
в атмосфере легкой стужи
шел я с думою о ней.

Ну-ка, ну-ка и а ну-ка,
своенравная Москва —
непосильная наука
для нее найти слова.

Пестрота ее сорочья,
ужас башенных громад,

интеллекта средоточье,
прохиндейства концентрат.

Ты слепой России зрение,
но при том сама слепа,
у России — население,
у Москвы — ее толпа.

Велика в Москве свобода,
сколь скупее нам дана.
Два народа, два уroda,
но при том одна страна.

По бесчисленным Садовым
брел я, злобы не тая,
в настроении хреновом:
я — не твой, ты — не моя.

Чей же я? И чья же ты-то?
На Садовых черен снег...
Это будет шито-крыто
ныне, присно и вовек.

2004

С еренькие птицы
во дворе живут.
Жаль, но я не знаю,
как же их зовут?

Думаю, гадаю
я средь бела дня.
А они не знают,
как зовут меня.

2004

*П*оговори со мной, береза,
поговори со мною, клен,
тоска, друзья, какая проза,
и я сто лет как не влюблен.

Зачем, зачем живет живое,
зачем страдает, но живет?
О чем собака ночью воет,
зачем гнездо сорока вьет?

Зачем и вы, друзья, растете,
стремите ветви в синеву?
Скажите мне, зачем живете,
и я пойму, зачем живу.

2004

Цыплят по осени считают,
пока они не улетели,
а если в облаках витают —
вы сосчитать их не успели.

Ведь коршунам — врагам проклятым —
нетрудно тыщи сбить и слопать,
какой тогда уж счет цыплятам,
ядрена вошь, а также копоть?!

А те, что все же уцелели,
летят в ночи турецкой звездной,
так далеконько улетели,
что сосчитать их — слишком поздно,

Вот приземлились возле Нила,
счастливые, весьма устали,
и их ни чуть не огорчило,
что дома их ие сосчитали.

Желаем счастья им, удачи,
пускай в папирусах пасутся,
пускай в судьбе своей цыплячьей
и не сочтенными спасутся.

2004

*В*спомнил очереди я послевоенные
перед праздником за белою мукой,
бдения ночные незабвенные,
смесь тревоги — хватит ли? — с тоской.

Драки, вопли, матерочки смачные,
за муку, глядишь, и жизнь отдашь.
На ладони номера трехзначные
наносил чернильный карандаш.

Муслили его. Слюной разбавленный,
выводил- кривые циферки вились
там, где линии судьбы, войной раздавленной,
для цыганского вранья пересеклись.

2004

*Ч*очью душею заново приснится:
с кем был в давней юности знаком.
Утром на балкон влетит синица,
глянет бойким гляцевым глазком.

Дам ей крошек. Клюв стучит по дереву.
Хочется мне, хлебушек кроша,
чтоб душа моя и впрямь поверила:
чья-то у меня гостит душа.

2005

КРАТКОСТИ

* * *

Овцы целы, волки сыты.
Для чего ж нам плебисциты?

Абрамович

Мужчина этот просто чумовой —
живет нелегкой жизнью кочевой:
чум в Магадане, в Лондоне — второй.
И в прессе он наделал столько шума,
что хочется сказать ему порой:
— Чума на оба ваших чума!

Загадочное слово

«Не владеете нашим форматом», —
мне в журналах теперь говорят.
Не покрыть ли их форменным матом —
может, он-то и есть их формат?

* * *

Один бывает гол и бос,
другой бывает вор и босс.

* * *

Твое я слышал интервью.
Как я жалею мать твою:
могла ли думать твоя мать,
что сын так нагло будет врать?

* * *

Поэтов юных мне ругать не лень:
— Вы наших всходов бледные растенья.
Вы пишете такую хренотень!
Она лишь тень от нашей хренотени.

Дон-Жуан в старости

Когда-то женщин сходу брал,
девчонкам юбки задира́л,
и шли они охотно на уступки.
Теперь по улицам бредет,
мечтает старый идиот:
внезапный ветер задира́л бы юбки.

К продаже лесов в аренду

И лес не избежал своей судьбы.
Закон, что говорить, весьма неплох.
Услышу я, отправясь по грибы,
где: «Руки вверх!», а где и: «Хенде хох!»

* * *

Меня украли инопланетяне,
схватив после короткой перестрелки...
Меня к иным мирам вообще-то тянет,
но чувствую — я не в своей тарелке.

Вместе с Пушкиным

*Быть можно дельным человеком
и думать о красе ногтей...*

Шагайте, люди, в ногу с веком,
а лучше — малость впереди:
быть можно дельным человеком
с татуировкой на груди.

Банкроту

Ешь ананасы, рябчиков жуй.
День твой последний приходит.
Бомжуй!

Тяга к культуре

Рухнул с дуба
на крышу клуба.

Неравноправие

Я слышу мать и перемать
на улице центральной

и ту же мать и перемать
на сцене театральной,
и та же мать и перемать —
на заседаниях власти,
в постелях мать и перемать
в минуты высшей страсти.
Повсюду мать и перемать.
Да как же это понимать?
Да что же это, наконец:
а где отец-переотец?!

Вот это охрана природы

В Австралии назначен суд.
Дадут лет десять недоумку.
И адвокаты не спасут:
у кенгуру украл он сумку.

Лермонтову

Лермонтов, прости меня, ей-богу,
содержанье я вложу не то:
выхожу один я на дорогу...
Остальные катятся в авто.

Трубы

Дядя Петя пьет с утра,
потому что пил вчера.
Нос багровый, дымный взгляд:
трубы у него горят.

Он их пивом заливает,
но огонь не убывает.
И тогда вдогонку он
заливает чекушон.
И с восторгом видят дети:
гаснут трубы в дяде Пете!

Это уже бывало

Однажды готтентотам готты
с чего-то отменили льготы.
Но готтентоты и без льгот
не сдохли еще целый год.

Однажды печенегам скифы
на свет повысили тарифы.
И что же? Печенеги те
жить научились в темноте.

Однажды чиновникам в Трое
зарплату повысили втрое.
Они, совещанье устроив,
и взятки повысили втрое.

Тем еще приятелям

Хотел я вам намылить холки —
пропал запал.
Плевал на вас я с верхней полки...
Но не попал.

* * *

Нет в душе обид и злости нет,
не имею зуб ни на кого.
Отчего? Мой маленький секрет:
не имею их ни одного.

У телевизора

Мысли плоские, истины голые,
но при этом слова — не без разницы:
ладно уж, говорящие головы,
но ведь есть говорящие задницы.

* * *

Мы не простофили вам,
надо ж понимать:
перестаньте фильмами
рекламу прерывать!

* * *

Я закусил икройю красной,
жизнь показалась мне прекрасной.
Я закусил икройю черной...
Простите, ради бога, вру:
доход мой скромный и позорный —
он не на черную икру.
Мы ж не в Москве. Кругом — Урал.
Да и про красную наврал.

* * *

Дискуссии возникли снова.
Позвольте мнение произнести:
да, снова нет свободы слова,
зато словам свобода есть!

ПЛЯЖНАЯ ЛИРИКА

Я лежу на пляжу,
на девчонок я гляжу.
Что приятно — на пляже
все девчонки — в неглиже.
Все девчонки в неглиже —
как же можно не гляже?

Омовение

Сываю с себя придорожную пыль,
а рядом купается автомобиль.
И радостно плавают пудель и дог,
вдобавок влетает бульдог со всех ног.
А также стоит по колено в воде
поддатый. Зашел он по малой нужде.
И я благодарен ему всей душой:
спасибо — по малой, а не по большой!

Изба-читальня

Люблю читать татуировки
на обнаженных мужиках.
Какие есть формулировки
на наших славных земляках!

Вот этот пишет, что он любит
и баб, и водку заодно,

а тот, напротив — что погубят
нас карты, женщины, вино.

А этот лег в большой печали
к не глядит по сторонам,
и на ногах: «Они устали» —
он тихо жалуется нам.

Лежат дружки на парапете.
Знакомство с ними — нет проблем.
На пальцах: «Коля», «Вася», «Петя» —
ребята сообщают всем.

Довольный, с пляжа ухожу я,
и радостно запомнить мне,
что не забудет мать родную
мужик, уснувший на спине.

Потом

Знакомьтесь с девушкой на пляже,
когда она обнажена —
и сердце сразу вам подскажет,
что вот, она нашлась — жена!

Сполна оцените фигуру,
груди волнующий объем...
А то, что стерва или дура —
о том узнаете потом.

Знакомьтесь с юношей на пляже,
он там без пиджака и брюк —
и сердце сразу вам подскажет,
что это будущий супруг.

Сполна оцените фигуру
и мощных мускулов объем...
А что он изверг и придурок —
о том узнаете потом.

Всюду рынок

Явление рынка народу
должно нам оттачивать ум,
и следует новую моду
ввести на купальный костюм.

Чтоб не было после промашек,
чтоб вас не постигла беда,
нашейте на плавки кармашек
и денежки суньте туда.

Явление рынка народу —
для вас путеводная нить,
и если вы входите в воду,
опасно без денег входить.

Несчастье вполне вероятно...
Используйте рыночный зуд:
утопят вас, может, бесплатно,
но вряд ли бесплатно спасут.

Эротическое

Твоей груди узрев объём,
теперь мечтаю лишь об ём.

Голый факт

Привольно обнажил я ручки-ножки,
отбросил одеяние свое...
На пляжах нас встречают по одежке,
порою провожают без нее.

Знать бы прикуп

Кто на лодке, кто в воде,
кто в тени читает книжки,
и, как всюду и везде,
трое дуются в картишки.

Первый — флегма, а второй
бьется лихо, он в ударе.
Третий — тощий, нервный, злой,
и сегодня он в прогаре.

Искурился весь, зачах,
злобно карты он швыряет.
«Знать бы прикуп — жить в Сочах» —
раз за разом повторяет.

Как ему не повезло!
Мог бы жить себе без горя
там, где круглый год тепло,
где шашлык, вино и море.

где магнолии цветут,
где красавицы гуляют...
А живет, бедняга, тут —
ибо прикупа не знает.

*В*чера я встретил друга Ваню.
«Здорово!» — я сказал. А он
сказал в ответ: «Пошел ты в баню!»
он был угрюм и удручен.

Спокойно выслушал я Ваню,
приказ исполнил без труда.
Он мне сказал: «Пошел ты в баню!»
А я как раз и шел туда.

Еще раз друга Ваню встретил.
«Привет!» — сказал ему. А он:
«Вали отсюда!» — мне ответил.
Он был угрюм и удручен.

Исполнил я его причуду
и поспешил, что было сил.
Он мне сказал: «Вали отсюда!»
А я отсюда и валил!

И в третий раз я встретил Ваню.
«Салют!» — сказал ему. А он
в ответ опять: «Пошел ты в баню!» —
он был угрюм и удручен.

Ну, что мне делать с другом Ваней?
Мне просто с Ванею беда:
ведь я как раз иду из бани —
выходит, снова мне туда?

Я встретил в деревне поэта,
он грядки усердно копал:
«Когда бы не делал я это —
верняк, с голодухи пропал.

Не кормят сегодня поэмы,
кой прок от сонетов и од?
Поэты, товарищи! Все мы
должны завести огород.

Поэты, меняйте свой профиль,
и даже меняйте анфас.
Вот я — не стихи, а картофель
теперь предлагаю для масс!

Я занят прополкой, поливом,
в ударном труде, как в бою!
И я вдохновенно, с порывом
Некрасова перепою:

Сеять разумное, доброе, вечное
вряд ли настанет черед.
Сейте сезонное, пусть скоротечное —
сейте! Спасибо вам скажет сердечное
русский народ!»

ЕВРАЗИЙСКИЕ ЧАСТУШКИ

В городе Екатерины
много безобразия,
здесь закончилась Европа,
началась Азия.

Небоскребы, как в Берлине,
а дороги адские.
Европейские машины,
нравы азиатские.

За рулем сидят кирюхи
и на правила плюют,
пребывают в тяжком духе
и на красный не встают.

Здесь мужик настроен гордо,
будь с обычаем знаком:
чуть чего — получишь в морду
азиатским кулаком.

Из любимых видов спорта
мордобой и водка, но,
как в Европе, здесь до черта
банков, клубов, казино.

Здесь летает туча денег,
банки пухнут от купюр.

Бабы — как из деревенек,
но одеты от кутюр.

В казино рискни, зайди ты:
яркий признак перемен —
в черных смокингах бандиты,
каждый — знатный бизнесмен.

Далека от нас Европа,
далека от нас Москва,
но на вывеске у шопы —
европейские слова.

Европеец с азиатом
(или — евроазиат)
здесь куют военный атом,
как и много лет назад.

Здесь заводы и театры,
и музеи здесь найдешь.
Поглощая пиво «Патры»,
колобродит молодёжь.

Он дымится и искрится
на скрещении дорог —
азиатская столица,
европейский городок.

Не знакомьтесь, граждане, по пьяни.
Деточки, не пейте из реки.
Бабы, не играйте на баяне.
Не носите юбок, мужики,

Тель-Авив, не обижай арабов,
поскорее мир тогда придет,
не уйди в отставку, друг Зурабов —
новый вдруг да больше украдет?

Дума, не терзайся лишней думой,
умное придумать не дерзай,
дубоватый твой состав, угрюмый,
нечем думать — ну, и не терзай.

Кто у нас присвоил, слямзил, стырил —
не вернитесь из-за рубежей.
Не кляни ты эту власть, сатирик,
следующая будет похужей.

Не страдайте славою, поэты,
ныне вы народу не нужны,
песенки у вас давно пропеты,
даже если не сочинены.

Не печалься, дорогой наш Путин,
это говорю тебе любя:

где мы будем — только там и будем,
что с тобой, а что и без тебя.

Не знакомьтесь, граждане, по пьяни.
Деточки, не пейте из реки.
Счастливо живите, россияне,
всем своим несчастьям вопреки.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

*Д*ожди октября обернулись свежей порошей,
а ливням июльским предшествовал ветер сухой.
Плохая погода — предвестница очень хорошей,
хорошая, если бывает, то перед плохой.

*Б*ывает дождь грибной,
но где же дождь мясной,
но где же дождь спиртной,
пельменный, сельдяной,
хотя бы овощной?!

У французов выпал дождь с лягушками,
а у русских выпал дождь с чекушками.
Французы скушали лягушек
и дружно вышли на работу.
А наши скушали чекушек —
увы, не вышли на работу.
Господь был этим недоволен,
и он менять погоду волен.

У русских выпал дождь с лягушками,
а у французов — дождь с чекушками.
Французы, выкушав чекушек,
все дружно вышли на работу.
А наши, выкинув лягушек,
увы, не вышли на работу.
Сидят и ждут: замест лягушек
им снова дождь пришлет чекушек.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (1967)

«Я — близорукий...»	4
Разговор со слонихой	7
Черная гроза	10
Арбузные стихи	12
«В истории моей планеты...»	14
Высокие поляны	15
«В баллоны вдавлен грозный газ пропан...»	17
«Август. Эпидемия футбола...»	18
Тихая комнатка	19
«Ты надоел, пижон...»	20
Субботние стихи	21
Маша	23
В машбюро	25
Возвращение с юга	27
Отчаянные стихи	28
Треугольник	31
Март	32
«Шорох и яблок глухой перестук...»	34
»Жизнь моя — голубой телевизор...»	35

ПРОЩАНИЕ С ГОЛЛАНДКОЙ (1991)

Словарь

«Я буду петь о лампе керосиновой...»	37
Возвращение	39
Царевна	41
Старый двор	44
Словарь	45
«Мелькают кулачки...»	47
«Мальчишек темный сход...»	49
Первое сентября	50
Черта	51

Третий глаз	52
«Я был мальчишкой...»	54
Зодиак	56
Склад	58
Снег	61
Город. Два наброска	64
Страна соседей. <i>Поэма</i>	67

Переправа

«Узнать весну по теплым волнам света...»	81
День рождения	82
«Преклоняю колена...»	83
Март	84
«Семнадцать лет, пиджак вельвет...»	85
«Уже прошла зима...»	86
«Акацию стригут...»	87
Дым	88
«Мы пробежим апрельским парком...»	92
«Зачем увез ты, не пойму...»	94
Глухая станция	96
Гурзуф	97
«Я кружу, не спросивши дороги...»	98
«Поверь, что жизнь необычайна...»	99
«О, рокотание прибоя...»	100
«Я понял твои речи, море...»	101
«Чайки плакали, кричали...»	102
«О паузы... о нарастанья...»	104
«Так вот как закончилось лето...»	105
Переправа	106
Остров	107
«Никто не знает, сколько лет ему отпущено...»	111
Песок	112
«Ах, к черту ночные угрюмые споры...»	113
Ладонь	114
Январь	118
Прощание с голландкой. <i>Поэма</i>	119

Высокие поляны

«Кто он — не интересуюсь...»	134
Поэт сегодня	135

Неотфильтрованный экспромт	136
«Сдул с невесты легкие пушинки...»	138
Альбомная лирика	139
Честный малый	140
«Пегаса загоняют в стойло...»	141
«Да, проклинать и то, и это...»	142
Высокие поляны	143
Литкружок	145
«У причала стоял ты...»	146
Новый Пушкин	148
Юрмала	149
«Третий день живу над морем...»	150
«Шумело море слева, справа...»	152
Одногодки	154
Певец эпохи	155
Читая Леонида Мартынова	157

Конец века

Бюро обмена. <i>Поэма</i>	159
«До двадцати...»	165
«Даже у испанской инквизиции...»	166
Дед Мазай и зайцы	167
«Собирался верховный совет облаков...»	170
Белая ворона	172
Красивые стихи или конец века	173
Распродажа	175
Ресторан «Поплавок»	177
Натура	179
В тумане	180
Читатели стихов	182
Квартира	183
Голоса. <i>Поэма</i>	186

Короткая строка

Надпись на календаре	224
«Что тебя в ночи встряхнуло...»	225
«Ты, пожалуй, прав отчасти...»	226
«Когда покорный вдруг бунтует...»	227
«Ничего святого нет...»	228

«Бывает ночь беззвездной...»	229
«Простерла нчь края...»	230
«Через всемирный свод...»	231
«Так и эдак убивает...»	233
«Человек, когда бессмертным станешь...»	234
«Его резали, маяли, гнули...»	235
«Где лучится сиянье густое...»	236
Короткая строка	237

РУССКАЯ ПТИЧКА, ЕВРЕЙСКИЙ САМОЛЕТ (1992)

Песок	239
«Спокойные евреи молились в синагоге...»	241
День—ночь	242
«Прощайте, пятнадцать республик...»	244
Иосиф	246
Исход. <i>Поэма</i>	248
Песня об одесском юморе	259
«Всесторонний зай гезунд...»	261
Суббота	263
Говорят зайцы	264
Как брюнеты с блондинами воевали	266
Крылатые обстоятельства	270
Северное кладбище. <i>Поэма</i>	282

КУДА НАС В ПОЛНОЧЬ ЗАНЕСЛО (1995)

Транзит

«Россия сызнаво во мгле...»	298
«Снова бастуют шахтеры...»	299
«А мы забыли имя звезд!..»	300
«Вновь блаженные нищие духом...»	301
«Привет, необитаемые звезды!..»	302
Августовская ночь	303
Москва слезам не верит	304
«Таятся забытые прахи...»	305
Переименования	306
«Вновь город Якова...»	307
Дом Ипатьева	308
Русский теремок	310
Перекасти-поле	312

Новый год в коммунальной квартире	313
«Младенец, везомый на финских санях...»	315
Повесть о детстве	316
Перенесение праха	318
«Мамин веер, розовое дерево...»	321
«Из подземных истоков...»	322
«На памяти моей из жизни городской...»	324
«Снега дворов — страницы дневника...»	325
Двусмыслицы	326
«Есть в юбилеях чудо примеренья...»	328
«Чем держатся за жизнь...»	329
Песенка	330
«Я прокричал тебе: «Привет!»... ..	331
«Где та черта, рубеж, обрыв...»	333
«Я форточку открыл...»	334
«Переулков обморок глубокий...»	335
Нагие истины	336
«Рука в широком рукаве...»	337
«Я воздух марта целовал...»	338
«Ты зря вернулся, блудный сын...»	339
«Пространство — то, что простирается...»	340
«Ослепший мой товарищ...»	341
«Теплынь, я вышел нараспах...»	342
«И снова снегопад...»	344
«Были мы юными...»	345
«Туманом заполнена с краем...»	346
Стирка	348
Глаз	350
«Волна о камень взорвалась...»	352
«Встречать рассвет, зевая, ежась...»	353
«Я сажаю картошку...»	354
Пушкинская, 12	357
«Уходят сатирики...»	360
«От главной аллеи в девятом ряду...»	362
Транзит	364
Прогулка. <i>Поэма</i>	367

Куда нас в полночь занесло

Майский день. <i>Поэма</i>	373
----------------------------------	-----

Стихи имени ордена Дружбы народов	378
Каламбуры	380
Суффиксация	382
«В эти пасмурные дни...»	385
«Новое ходит по улицам, новое...»	387
У булочной	388
Правила поведения за столом	389
«Тинейджера лицо с дебильностью во взгляде...»	390
«И сам не знаю как убил тебя, оса...»	391
Милитариада. <i>Поэма</i>	393
«Я верю, придет исторический час...»	407
«Опять стреляли в кого-то под вечер...»	408
«Собака умерла...»	409
«Средь незнакомого квартала...»	410
На черный день	412
«А жизнь оказалась такою короткой...»	413
Точка	414
«Закончись, век, навеки завершись...»	416

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

«Ночью дождь барабанол по крыше...»	418
«Будто вымокшими сетями...»	419
«Подъем одолевши с присвистом...»	420
Баллада о храбром поручике	421
«Дожди и туманы — к разлуке...»	423
Пушкинская улица	424
«Хомо сапиенс, эй, хомо...»	426
«Вот бегуны гурьбою...»	428
Подвал	430
После снегопада	433
«Проснулся утренний Урал...»	434
Последние известия	435
Укоризны морю	437
К столетию письма № 813 от 29.4.1890	438
«Снова злоба косит ястребино...»	442
«Дрянной табак закурим и дрянной...»	443
«Над Россией ветер свищет...»	444
«Раскоряка-безнадега...»	445
«Какие, однако, у нас перемены...»	446

«Убелен морозами...»	447
«От разнообразной жизни...»	448
«В последние годы, в последние дни...»	449
«В глазах рябит от шелковых косынок...»	450
Колыбельная мухе	451
Кладбищенские элегии	452
Танец живота	454
Утро	455
«Влетела муха мне в башку...»	457
«Поделюсь сугубо личным...»	458
«Серенькие птицы...»	460
«Поговори со мной, береза...»	461
«Цыплят по осени считают...»	462
«Вспомнил очереди я послевоенные...»	463
«Ночью душной заново приснится...»	464

КРАТКОСТИ

Краткости	466
Пляжная лирика	473
«Вчера я встретил друга Ваню...»	477
«Я встретил в деревне поэта...»	478
Евразийские частушки	479
Полезные советы	481
Точный прогноз	483
«Бывает дождь грибной...»	484
«У французов выпал дождь с лягушками...»	485

Литературно-художественное издание

Герман Федорович Дробиз

Переправа

Стихотворения и поэмы

Художник

Компьютерная верстка *С.В.Яценко*

Подписано в печать ?????. Формат 70х90 ¹/₃₂.

Бумага *ВХИ*. Печать офсетная.

Усл. печ. л. ????. Уч.-изд. ????. Тираж 1000 экз.

Банк культурной информации.

620026, Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 56.

Тел./факс +7(343) 251-65-26.

bki@sky.ru